

ВРЕМЯ ИМБ 45 1979



В НОМЕРЕ: ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА ● ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДСЛОВИЯ ● ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ АНДРЕЯ СЕДЫХ ● ШАХТИНСКОЕ ДЕЛО ● ДИАЛОГ "ХУДОЖНИК – ЗРИТЕЛЬ".

Анатолий Лимбергер Последняя сессия



ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Пятый год издания

Выходит один раз в месяц

45
1979 СЕНТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1979

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД

Американское отделение журнала "Время и мы".

Адрес отделения: 809 West, 177 Str., Apt. 4E N. Y.
10033 T. (212) 781-05-09

Представители журнала:

Англия	Александр Штротмас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robion Hall Winnipeg. Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474-9773
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, SOWest Germany

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июнь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Ефим ЭТКИНД
Двадцать лет спустя. О Василии Гроссмане. 5
Василий ГРОССМАН
Судьба комиссара Крымова. 13
Юрий ДРУЖНИКОВ
Смерть Федора Иоанновича. 59

ПОЭЗИЯ

Владимир АДМОНИ
Реквием. 78
Юрий ИОФЕ
Двадцатый век. 86
Рина ЛЕВИНЗОН
Сочетанье глагола с бедой. 93

ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ
Больная экономика Израиля. 96
Александр ШТРОМАС
Мир Александра Галича. 106
Виктория ШВЕЙЦЕР
Дымшиц и Мандельштам. 121
Дора ШТУРМАН
Далекие и близкие Андрея Седых. 137

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Анатолий ЛИМБЕРГЕР
Последняя сессия. 146
М. РЕЙМАН
Шахтинское дело. 165

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Лев СТРУВЕ
Олег Бранд. 191

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Иона БАХУР

Замкнутый круг 203

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Диалог "художник-зритель" 210

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ПРОЗА _____ **Да, да, они не виноваты, их толкали угрюмые, свинцовые силы, на них давили триллионы пудов, нет среди живых невиновных. Все виновны, и ты, подсудимый, и ты, прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и судьбе.**

Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?

Василий Гроссман. "Все течет..."

Ефим ЭТКИНД

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

О Василии Гроссмане

Двадцать лет назад, в 1960 году, Василий Гроссман закончил роман "Жизнь и судьба". В 1980 году книга выходит в свет. Не на родине автора, на Западе.

Двадцать лет — срок большой. За двадцать лет может до неузнаваемости измениться человек, преобразоваться лицо планеты, переродиться художественный вкус. Но истинное, насущное, глубинное не меняется. Хлеб остается хлебом и вода водой. За последние два десятилетия вкусы эволюционировали, идеи тоже; однако роман "Жизнь и судьба" остался жизненно-нужным. Его взрывчатая сила по-прежнему велика.

Судьба этой книги уникальна. В 1962 году В. Гроссман, завершив свою эпопею (кажется, общее ее название — "За правое дело"), отдал рукопись, озаглавленную "Жизнь и судьба", в журнал "Знамя". Главный редактор журнала Вадим Кожевников, прочитав рукопись, переслал ее на Лубянку, — так спокойнее, слишком уж страшно то, что он прочел! (Даже Фаддей Булгарин не пересылал Бенкендорфу

рукописи, казавшиеся ему крамольными, — напротив, он их берег — как "Горе от ума" или стихи Рылеева).

Впрочем, его ли одного следует обвинять? Механизм доноительства лучше всех объяснил сам Василий Гроссман. В данном случае дело, очевидно, обстояло так: читали роман несколько членов редколлегии, каждый боялся и сам себя, и другого, и донос на прочитанную рукопись они в конце концов написали коллективно, втроем: главный — Вадим Кожевников и двое помельче — Людмила Скорино и Александр Кривицкий. Надо помнить такие имена: именно благодаря этим радетелям отечественной словесности к Василию Гроссману однажды явились двое в штатском, оказавшиеся майором и капитаном КГБ, и предъявили ордер на обыск и на арест романа. Автору они заявили, что им поручено "извлечь роман" и предложили избавить писателя от обыска, если он отдаст в их руки все экземпляры своей новой книги. Взяли они не только машинописные копии, но и черновики, и даже — у машинисток — ленты и листы копировальной бумаги, на которой можно было что-то прочесть "на просвет".

Операция казалась основательной. Книга "Жизнь и судьба" была арестована и, видимо, уничтожена навсегда. Автора не посадили, но прожил он недолго — через полтора года его не стало; в могилу его свел рак. А было В. Гроссману 59 лет, в нем жил неукротимый дух, и он мог бы еще многое сделать, если бы его не убили в тот день, когда похитили труд его жизни. Сам Гроссман об этом дне сказал своему другу: "Меня задушили в подворотне".

А все же он и так сделал немало — в истории литературы и освободительной мысли нашего века он займет одно из первых мест. В. Кожевников не зря пришел в ужас — он понял, чем Гроссман угрожает лично ему, Кожевникову; ведь это и про него и про его сочинения написал Василий Гроссман позднее в предсмертной повести "Все течет...". "Государство без свободы создало макет парламента, выборов, профессиональных союзов, макет общества и общественной жизни..."

Роман "Жизнь и судьба" демонстрирует противоположность макета и жизни; В. Кожевников не мог не учуять, что и вся его писательская известность, и его многотысячный "Щит и меч", и его журнал "Знамя" и его секретарство в Правлении Союза писателей, — все это относится к макетной псевдореальности.

Если Василий Гроссман существует, то В. Кожевников — пустое место. И руководители КГБ тоже поняли, что, несмотря на XX и XXII съезды партии, хрущевскую "оттепель", так далеко, как Гроссман, заходить нельзя: его картина советского общества слишком страшна и, главное, слишком достоверна.

Что же все-таки их так ужаснуло? Ведь для того, чтобы решиться на арест рукописи известного писателя, нужно было этой рукописи испугаться, как чумы. Не конфисковала же полиция в сходных обстоятельствах роман Б. Пастернака "Доктор Живаго", отвергнутый редакцией "Нового мира" (во главе с К. Симоновым) как антиреволюционный. Не конфисковала роман А. Бека "Новое назначение", запрещенный цензурой и вскоре появившийся на Западе. Не арестовала рукопись поэмы А. Твардовского "Теркин на том свете", дождавшуюся публикации (по личному распоряжению Н. С. Хрущева — в газете "Известия") лишь гораздо позднее.

Через 12 лет после книги Гроссмана удостоилась ареста еще только одна рукопись — Солженицынский "Архипелаг ГУЛаг". Но почему "Архипелаг ГУЛаг" был страшен властям и прежде всего, КГБ, понятно: "художественное исследование" Солженицына ломится от фактов, от реальных судеб, от имен жертв и имен палачей. Книга же В. Гроссмана — плод вымысла, роман. Среди десятков персонажей порой попадаются реальные (генералы Родимцев, Чуйков), но все остальные — писательское воображение. Опасность разоблачительных и обвиняющих документов несомненна. Но не бывало никогда, чтобы художественное сочинение погубило политический строй или партию!

Арест романа — наивысшая оценка, какую может заслужить художественное произведение от государственной вла-

сти. Вымысел приравнен к реальности. Размышления писателя — к выдаче государственной тайны. Власть испытывает страх перед выдуманными персонажами и писательскими мыслями, даже если они не превратились в многотиражные книжные листы, даже если они покоятся в письменном столе автора. А ведь, казалось бы, эта пугливая власть так могущественна: она владеет танками и авиацией, типографиями, радио, телевидением, спутниками и ядерной энергией. А боятся — романа. Рукописи романа. Листков копировальной бумаги, если что-то можно разглядеть "на просвет". Потому-то высокопоставленный деятель ЦК, принявший В.С. Гроссмана, и сказал ему, что "о возврате или напечатании романа не может быть и речи, и напечатан он может быть не раньше, чем через 200 - 300 лет".

Роман Вас. Гроссмана исследует советскую действительность в вершинный момент ее истории: Сталинград — это поворот, определивший судьбы мира и человечества. Это величайшая надежда всех и прежде всего России, ибо это — гибель нацизма и торжество демократии. Вас. Гроссман позволяет нам увидеть этот перевал глазами разных участников исторического процесса: ученого-физика, русских и немецких рядовых пехотинцев, советского полковника-танкиста, старых большевиков-ленинцев, видного эсэсовца — строителя Освенцима, партийных функционеров, вождей воюющих сторон — Гитлера и Сталина. При этом читатель прежде всего обнаруживает беспочвенность каких бы то ни было надежд на справедливость и демократию. Дело в том, что, оказывается, между гитлеровским нацизмом и сталинским большевизмом никакой принципиальной разницы нет: фанатизм классовый или фанатизм расовый — не все ли равно? И то, и другое лишь подведение иллюзорно-теоретического фундамента под насилие, чинимое над народом во имя господства.

Удивительный парадокс: именно в Сталинграде оба режима, казавшиеся противоположными, окончательно уподобились друг другу. Отсюда не раз подчеркиваемая Гроссманом двойственность Сталинграда: в триумфе советского оружия

кроется и величие и ужас. Победа народа оказалась победой Сталина и его имперского режима. "Сталинградское торжество определило исход войны, — говорит Вас. Гроссман и продолжает, — но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжается. От этого спора зависела судьба человека, его свобода".

В тот самый миг, как один из противников сокрушил другого, стало очевидно, что они близнецы. Впрочем, они сошлись давно, не обнаруживая своего сходства. Немецкий тоталитаризм разыгрывал спектакль антибольшевизма, хотя и назвал свой строй социалистическим и рабочим, а Гитлера — мудрым вождем, присвоил себе красное знамя, главные праздники назначил на 1 мая и 6 ноября. Советский же тоталитаризм долго клял на все корки нацистскую фразеологию, расистское учение и даже фашистов-антисемитов. После Сталинграда он, сохраняя обманную систему пропагандистских фраз, бесповоротно ударился в расизм, и антисемитизм стал важнейшей чертой режима, причем коммунистические теории были настолько уверены в сокрушительной силе и магической притягательности великого учения, что даже не удосужились свести концы с концами, — в данном случае я под "концами" имею в виду социализм — с антисемитизмом (или даже просто с националистическим угаром).

Откуда это ошеломляющее сходство? Каким образом в XX веке образовались столь разные и в то же время, столь друг другу близкие формы истребительного тоталитаризма? Кто несет изначальную ответственность?

Ответы многообразны. *Один:* левые политики, думающие, что, переделав общество, можно исправить человека, — человек же неизменяем; *другой:* западные материалисты, отшатнувшиеся от высокой духовности средневековой религии; *третий:* евреи, отомстившие христианам созданием марксизма, который родился в Германии, укоренился в России, а потом в Германии спровоцировал победу нацистов; *четвертый:* современные научно-технические достижения, прогресс, влекущий за собой обездуховливание людей и превращение их в "одномерных" роботов-потребителей; *пятый:* филосо-

фы, сторонники законченных теоретических систем, которые во имя абстрактных идей готовы пожертвовать человечеством; *шестой*: властолюбивые авантюристы, преуспевающие благодаря небывалой прежде технике распространения пропаганды, возбуждения массовых психозов и истребления людей миллионами.

Ответ, который дает В. Гроссман, иной. Гроссман полагает, что Россия развивалась путем, противоположным Западу: развитие западное — это постоянное и постепенное увеличение свободы; русское — столь же неуклонное увеличение рабства, "...тысячелетней цепью были прикованы друг к другу русский прогресс и русское рабство. Каждый порыв к свету углублял черную яму крепостничества".

Особый тип русского развития — постоянный прогресс в сторону все большего рабства — был воспринят другими нациями. "Синтез несвободы с социализмом" оказался такой удобной и неодолимо-могущественной государственной формой, что она стала вытеснять другие, не выдерживающие конкуренции: демократия ослабляет, свобода отдельных людей подрывает мощь государства — общество демократии уступает тоталитарному строю, не может соперничать с диктатурой партии и ее вождей. Революционная Россия породила фашистскую Италию и нацистскую Германию. Для Вас. Гроссмана это объяснение соединяет историческую перспективу с социальной необходимостью, и оно достовернее абстрактного учения о вечном зле и бессилии добра.

Вас. Гроссман выдвинул цельную социально-философскую концепцию разноликого мирового фашизма, у истоков которого стоит Октябрьская революция. Вожди русского коммунизма, может быть, и хотели человечеству добра, но сотворили невиданное — по циклопическим масштабам, по вселенскому размаху, по апокалиптическим последствиям — зло. Цельности такой концепции было достаточно, чтобы смертельно напугать советских руководителей — доньше никто себе не позволял исторических или философских теорий, противопоставленных монополю господствующему марксизму-ленинизму. Но эпопея Гроссмана была им страшнее не только

убедительной цельностью общей мысли, но и жизненной достоверностью.

Книга многопланова; ее действия широко разветвлены и происходят в разных областях действительности. Судьба комиссара Крымова — это лишь несколько глав романа, лишь одна из его сюжетных линий. Публикуемый в этом номере отрывок рисует трагическую судьбу комиссара Крымова, капитулирующего перед сатанинской логикой чекистских следователей, которые избиениями, унижениями, пыткой, демагогией превращают боевого комиссара, недавно еще гордого своей незапятнанной идейностью, в слякоть... История процветающих предателей, приспособленцев, доносчиков, холуев — все это складывается в точную картину советского общества, где живые люди разбивают себе голову о бюрократическую или полицейскую стену, а безраздельно господствуют деятели "макетного мира".

В эпопею Гроссмана сталкивается живое с неживым, и в условиях советского социализма неживое постоянно и закономерно одерживает над живым победу.

Одна из важнейших тем Вас. Гроссмана — противостояние человека и государства. Человека — маленького, бессильного, растерянного, жалкого, ранимого, смертного. Государства — всемогущего, титанической машины — то Лубянки, то Освенцима, то партии, то вождя-полубога. Давление государства на человека измеряется невообразимыми мощностями; тут Гроссман не боится гипербол: "...силовые поля, созданные нашим государством, тяжелая в триллионы тонн масса его, сверхужас и сверхпокорность, которые оно вызывает в человеческой пушинке..." ("Все течет...", 68). И тут мы вдруг понимаем значение эпопеи Гроссмана: эта человеческая пушинка сильнее. Вспоминается Блез Паскаль, сказавший триста лет назад, в 1670 году: "Чтобы раздавить человека, всей Вселенной не надо: убить его может облачко пара, капля воды. Но когда Вселенная уничтожила бы человека, он был бы благороднее силы, убивающей его, ибо он знал бы, что умирает и что Вселенная сильнее его, Вселенная же ничего ни о чем не знает".

* * *

Неужто он в самом деле думал, что его труд увидит свет в Советском Союзе? Ведь писал его Гроссман до, во время и, главное, после пастернаковской истории с "Доктором Живаго". Роман Пастернака, появившийся в Италии и вызвавший шумный скандал, для ЦК и ЧК менее опасен, чем книга Гроссмана, — последний поднимает все или почти все политические проблемы сталинизма, и автор не мог этого не понимать. И все же он писал, не таясь, писал и отдал рукопись в редакцию вполне ортодоксального советского журнала, отдал — и верил в чудо.

В ту пору чуда не произошло. Чудо случилось позднее: отбыв двадцатилетний срок заключения, рукопись вырвалась из тюрьмы и достигла издателя. Она, несмотря на опоздание, — живая; она займет свое место в русской и мировой литературе. И место это — не исторического памятника, а произведения искусства, участвующего в движении жизни. В заключение — свидетельство Бориса Ямпольского, хорошо знавшего Гроссмана и оставившего прекрасные воспоминания о нем:

"Я часто видел его в годы его главного творения, Главной книги, и он похож был скорее на каменотеса; казалось, большие, сильные рабочие руки его держали молот и долото, но не хрупкое, обмокнутое в чернила, перо. Он, казалось, строил в это время грандиозный Собор, и эта книга его, не увидевшая света, и была Собором, величественным, современным, суровым и светоносным, святым Собором нашего времени".

Василий ГРОССМАН

СУДЬБА КОМИССАРА КРЫМОВА

Главы из третьей части романа "Жизнь и Судьба"

1

За несколько дней до начала сталинградского наступления Крымов пришел на подземный командный пункт 64 армии. Адьютант члена Военного Совета Абрамова, сидя за письменным столом, ел куриный суп, заедал его пирогом.

Адьютант отложил ложку, и по его вздоху можно было понять, что суп хорош. У Крымова глаза увлажнились, так сильно ему вдруг захотелось жевануть пирожка с капустой.

За перегородкой после доклада адъютанта стало тихо, потом послышался сиплый голос, знакомый уже Крымову, но на этот раз слова произносились негромко и Крымов не мог их разобрать.

Вышел адъютант и сказал:

— Член Военного Совета принять вас не может.

Крымов удивился:

— Я не просил приема. Товарищ Абрамов меня вызвал.

Главы даны в сплошной нумерации.

Адъютант молчал, глядя на суп.

— Значит, отменено? Ничего не понимаю, — сказал Крымов.

Крымов поднялся наверх и побрел по овражку к берегу Волги — там помещалась редакция армейской газеты.

Он шел, досадуя на бессмысленный вызов, на внезапно охватившую его страсть к чужому пирогу, вслушивался в беспорядочную и ленивую стрельбу пушек, доносившуюся со стороны Купоросной балки.

В сторону оперативного отдела прошла девушка в пилотке, в шинели. Крымов оглядел ее и подумал: "Весьма хорошенькая".

С привычной тоской сжалось сердце: он подумал о Жене. Тотчас же, также привычно он прикрикнул на себя: "Гони ее, гони!", стал вспоминать ночевку в станице, молодую казачку.

Все эти мысли, ленивая пальба, досада на Абрамова, осеннее небо долгое время вспоминались ему с пронзительной ясностью.

Его окликнул штабной работник с зелеными капитанскими шпалами на шинели, шедший за ним следом от командного пункта.

Крымов недоуменно поглядел на него.

— Сюда, сюда, прошу, — негромко сказал капитан, указывая рукой на дверь избы.

Крымов прошел в дверь избы мимо часового.

Они вошли в комнату, где стоял конторский стол, а на дощатой стене висел припиленный кнопками портрет Сталина.

Крымов ожидал, что капитан обратится к нему примерно так: "Простите, товарищ батальонный комиссар, не откажетесь ли вы передать на левый берег товарищу Тошееву наш отчет".

Но капитан сказал не так.

Он сказал:

— Сдайте оружие и личные документы.

И Крымов растерянно произнес уже не имеющие никакого смысла слова:

— Это по какому же праву? Вы мне свои документы раньше покажите, прежде чем требовать мои.

И потом, убедившись в том, что было нелепо и бессмысленно, но в чем не было сомнения, он проговорил те слова, что в подобных случаях бормотали до него тысячи людей:

— Это дичь, я абсолютно ничего не понимаю, недоразумение.

Но это уже не были слова свободного человека.

2

Его допрашивали на левом берегу Волги, во фронтовом особом отделе.

От крашеного пола, от цветочных горшков на окне, от ходиков на стене веяло провинциальным покоем. Привычным и милым казалось подрагивание стекол и грохот, шедший со стороны Сталинграда, — видимо, на правом берегу разгружались бомбардировщики.

Как не вязался армейский подполковник, сидевший за деревенским кухонным столом, с воображаемым бледногубым следователем.

Но вот подполковник с меловым следом на плече от мазаной печи подошел к сидевшему на деревянной табуретке знатоку рабочего движения в странах колониального Востока, человеку, носившему военную форму и комиссарскую звезду на рукаве, человеку, рожденному милой доброй матерью, и врезал ему кулаком по морде.

Николай Григорьевич провел рукой по губам и по носу, посмотрел на свою ладонь и увидел на ней кровь, смешанную со слюной. Потом он пожевал. Язык окаменел, и губы онемели. Он посмотрел на крашенный, недавно вымытый пол, и проглотил кровь.

Ночью пришло чувство ненависти к особисту. Но в первые минуты не было ни ненависти, ни физической боли. Удар по лицу означал духовную катастрофу и не мог ничего вызвать, кроме ощущения оцепенения, остолбенения.

Подполковник посмотрел на часы. Это было время ужина в столовой заведующих отделами.

Пока Крымова вели по двору, по пыльной снежной крупе в сторону бревенчатой каталажки, особенно ясно был слышен гром воздушной бомбежки, шедшей со стороны Сталинграда.

Первая мысль, поразившая его после оцепенения, была та, что разрушить эту каталажку могла немецкая бомба... И эта мысль была проста и отвратительна.

В душной камере с бревенчатыми стенами его захлестнуло отчаяние и ярость — он терял самого себя. Это он, он охрипшим голосом кричал, бежал к самолету, встречал своего друга Георгия Димитрова, он нес гроб Клары Цеткин, и это он воровато посмотрел — ударит вновь или не ударит его особист. Он вел из окружения людей, они звали его "товарищ комиссар".

Он не мог еще осознать колоссального значения слов: "лишение свободы". Он становился другим существом, все в нем должно было измениться.

В глазах темнело... Он пойдет к Щербакову, в Центральный Комитет, у него есть возможность обратиться к Молотову, он не успокоится, пока мерзавец подполковник не будет расстрелян. Да снимите же трубку! Позвоните Красину. Да ведь сам Сталин слышал, знает мое имя. Сталин спросил как-то у Жданова: "Это какой Крымов, тот, что в Коминтерне работал?"

И тут же Николай Григорьевич ощутил под ногами трясину, вот-вот втянет его темная, коллоидная, смолянистая, не имеющая дна гуща... Что-то непреодолимое, казалось, более сильное, чем сила немецких панцирных дивизий, навалилось на него. Он лишился свободы.

Женя! Женя! Видишь ли ты меня? Женя! Посмотри на меня, я в ужасной беде! Ведь совершенно один, брошенный, и тобой брошенный.

Выродок бил его. Мутилось сознание, и до судороги в пальцах хотелось броситься на особиста.

Он не испытывал подобной ненависти ни к жандармам, ни

к меньшевикам, ни к офицеру эсэсовцу, которого он допрашивал.

В человеке, топтавшем его, Крымов узнавал не чужака, а себя же, Крымова, вот того, что мальчонкой плакал от счастья над потрясшими его словами Коммунистического Манифеста "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Это чувство близости поистине было ужасно.

3

Стало темно. Иногда гул сталинградской битвы раскати-сто заполнял дурной тюремный воздух. В коридоре изредка возникало движение. Открывались двери общей камеры, где сидели дезертиры, изменники родины, мародеры, изнасил-ователи. Они то и дело просились в уборную, и часовой, пре-жде чем открыть дверь, долго спорил с ними.

Когда Крымова привезли со Сталинградского берега, его ненадолго поместили в общую камеру. На комиссара с неспоротой красной звездой на рукаве никто не обратил внимания, поинтересовались только, нет ли бумажки, чтобы завернуть махорочную труху. Люди эти хотели лишь одного — кушать, курить и справлять естественные надобности.

Ему захотелось выйти на улицу, пройтись, поднять голову и посмотреть на небо. Пойти за газетой. Побриться. Написать письмо брату. Он хочет выпить чаю. Ему нужно вернуть взя-тую на вечер книгу. Посмотреть на часы. Сходить в баню. Взять из чемодана носовой платок. Он ничего не мог. Он ли-шился свободы.

Вскоре Крымова вывели из общей камеры в коридор, и комендант стал ругать часового:

— Я ж тебе говорил русским языком, какого черта ты его сунул в общую? Ну, чего раззявился, хочешь на передовую попасть, а?

Часовой после ухода коменданта стал жаловаться Крымо-ву:

— Вот так всегда. Занята одиночка! Сам ведь приказал дер-жать в одиночке, которые на расстрел назначены. Если вас туда, куда же я его?

Вскоре Николай Григорьевич увидел, как автоматчики вывели из одиночки приговоренного к расстрелу. К узкому впалому затылку приговоренного льнули светлые волосы. Возможно, ему было лет двадцать, а может быть, тридцать пять.

Крымова перевели в освободившуюся одиночку. Он в полутьме различил на столе котелок и нащупал рядом вылепленного из хлебного мякиша зайца. Видимо, приговоренный совсем недавно выпустил его из рук, — хлеб был еще мягкий, и только уши зайца зачерствели.

Стало тише... Крымов, полукоткрыв рот, сидел на нарах, не мог спать — слишком о многом надо было думать. Но оглушенная голова не могла думать, виски сдавило. В черепе стояла мертвая зыбь, все кружилось, качалось, плескалось, не за что было ухватиться, начать тянуть мысль.

Ночью в коридоре снова послышался шум. Часовые вызвали разводящего. Протопали сапоги. Комендант, Крымов узнал его по голосу, сказал:

— Выведи к черту этого батальонного комиссара, пусть посидит в караульном помещении, — и добавил: — вот это ЧП так ЧП, до командующего дойдет.

Открылась дверь, автоматчик крикнул:

— Выходи!

Крымов вышел. В коридоре стоял босой человек в нижнем белье.

Крымов много видел плохого в жизни, но, едва взглянув, он понял — страшней этого лица он не видел. Оно было маленькое, с грязной желтизной. Оно жалко плакало все — морщинами, трясушимися щеками, губами. Только глаза не плакали, и лучше бы не видеть этих страшных глаз, таким было их выражение.

— Давай, давай, — подгонял автоматчик Крымова.

В караульном помещении часовой рассказал ему о происшедшем ЧП.

— Передовой пугают, тут хуже, чем на передовой, тут скорей все нервы потеряешь... Повели самострела на расстрел, он стрельнул себе через буханку хлеба в левую руку. Расстреля-

ли, присыпали землей, а он ночью ожил и обратно к нам пришел.

Он обращался к Крымову, стараясь не говорить ему ни "вы", ни "ты".

— Они халтурят так, что последние нервы от них теряешь. Скотину, и ту режут аккуратно. Все по халтурке. Земля мерзлая, разгребут бурьян, присыпят кое-как и пошли. Ну, ясно же, он вылез! Если б его закопать по инструкции, он бы никогда не вылез.

И Крымов, который всегда отвечал на вопросы, вправляя людям мозги, объяснял, сейчас в смятении спросил автоматчика:

— Но что ж это он снова пришел?

Часовой ухмыльнулся.

— Тут еще старшина, который водил его в степь, говорит, надо хлеба ему дать и чаю, пока его снова оформят, а начхозчастью злой, скандалит, — как его чаем поить, если он списан в расход. А по-моему, верно. Что ж он, старшина, схалтурит, а хозчасть за него отвечать должна?

Крымов вдруг спросил:

— Кем вы были в мирное время?

— Я в гражданке в госхозе пчелами заведовал.

— Ясно, — сказал Крымов, потому что все вокруг и все в нем самом стало темно и безумно.

На рассвете Крымова снова перевели в одиночную камеру. Рядом с котелком по-прежнему стоял вылепленный из хлебного мякиша заяц. Но сейчас он был твердый, шершавый. Из общей камеры послышался льстивый голос:

— Часовой, будь парнем, своди оправиться, а?

В степи в это время взошло красно-бурое солнце, — полезла в небо мерзлая, грязная свекла, облепленная комьями земли и глины.

Вскоре Крымова посадили в кузов полуторки, рядом сел милый лейтенант, провожатый, старшина передал ему крымский чемодан, и полуторка, скрежеща, прыгая по схваченной морозами ахтубинской грязи, пошла в Ленинск, на аэродром.

Он вдыхал сырой холод, и сердце его наполнилось верой и светом — страшный сон, казалось, кончился.

4

Николай Григорьевич вышел из легковой машины и оглядел серое лубянское ущелье. В голове шумело от многочасового рева аэроплановых моторов, от мелькания сжатых и несжатых полей, речушек, лесов, от мелькания отчаяния, уверенности и неуверенности.

Дверь открылась, он вошел в рентгеновское царство душного казенного воздуха и бешеного казенного света — вступил в жизнь, шедшую вне войны, помимо войны, над войной.

В пустой душевной комнате при прожекторно ярком свете ему велели раздеться догола, и пока вдумчивый человек в халате ощупывал его тело, Крымов, подергиваясь, думал, что методичному движению не знающих стыда пальцев не могли помешать гром и железо войны.

— Повернитесь, нагнитесь, отставьте ногу.

Потом, одетый, он фотографировался с расстегнутым воротом гимнастерки, с мертвым и живым лицом, в анфас и в профиль.

Потом он с непристойной старательностью отжимал отпечаток своих пальцев на листе бумаги. Потом хлопотливый работник срезал пуговицы с его штанов и отбирал поясной ремень.

Потом он поднимался в ярко освещенном лифте, шел по ковровой тропинке длинным, пустым коридором мимо дверей с круглыми глазками. Палаты хирургической клиники, хирургия рака. Воздух был теплый, казенный, освещенный бешеным электрическим светом. Рентгеновский институт социальной диагностики...

— Кто же меня посадил?

В этом лунном, слепом воздухе трудно было думать. Сон, явь, бред, прошлое, будущее схлестнулось. Он терял ощущение самого себя... Была ли у меня мать? Может быть, мамы не было. Женя стала безразлична. Звезды меж вершинами со-

сен, донская переправа, зеленая немецкая ракета, пролетарии всех стран соединяйтесь, за каждой дверью люди, умру коммунистом, где сейчас Михаил Сидорович Мостовский, голова шумит, неужели Греков стрельнул в меня, кучерявый Григорий Евсеевич, председатель Коминтерна, шел этим коридором, какой трудный, тесный воздух, какой проклятый прожекторный свет... Греков стрелял в меня, особист врезал в зубы, немцы стреляли в меня, что день грядущий мне готовит, клянусь вам, я ни в чем не виноват, надо бы отлить, славные старики пели в октябрьскую годовщину у Спиридонова, ВЧК, ВЧК, ВЧК, Дзержинский был хозяином этого дома. Генрих Ягода, да еще Менжинский, а потом уж маленький с зелеными глазами питерский пролетарий Николай Иванович, сегодня ласковый и умный Лаврентий Павлович, как же, как же, встречались, аллаверды к вам, как это мы пели: "Вставай, пролетарий, за дело свое", я ни в чем не виноват, отлить бы надо, неужели меня расстреляют...

Как странно идти по прямому, стрелой выстреленному коридору, а жизнь такая путаная, тропка, овраги, болотца, ручейки, степная пыль, несжатый хлеб, продираешься, обходишь, а судьба прямая, струночкой идешь, коридоры, коридоры, в коридорах двери.

Крымов шел размеренно, не быстро и не медленно, словно часовой шагал не сзади него, а впереди него.

С первых минут в лубянском доме пришло новое.

"Геометрическое место точек", — подумал он, выдавливая отпечаток пальца, и не понял, почему так подумал, хотя именно эта мысль и выражала то новое, что пришло к нему.

Новое ощущение произошло оттого, что он терял себя.. Если бы он попросил воды, ему бы дали напиток, если б он внезапно упал с сердечным припадком, врач сделал бы ему нужный укол. Но он уже не был Крымовым, он ощутил это, хотя и не понимал этого. Он уже не был Крымовым, который, одеваясь, обедая, покупая билет в кино, думая, ложась спать, постоянно ощущал себя самим собой. Крымов отличался от всех людей и душой, и умом, и дореволюционным партийным стажем, и статьями, напечатанными в журнале "Коммунисти-

ческий Интернационал", и разными привычками и привычками, повадками, интонациями голоса в разговорах с комсомольцами, либо секретарями московских райкомов, рабочими, старыми партийцами, друзьями, просителями. Его тело было подобием человеческого тела, его движения, мысли были подобны человеческим движениям и мыслям, но суть Крымова-человека, его достоинства, свобода ушли.

Его ввели в камеру — прямоугольник с начищенным паркетным полом, с четырьмя койками, застеленными туго, без складок натянутыми одеялами, и он мгновенно ощутил: три человека посмотрели с человеческим интересом на четвертого человека.

Они были людьми, плохими ли, хорошими, он не знал, были ли они враждебны или безразличны к нему, он не знал, но хорошее, плохое, безразличное, что исходило от них и шло к нему, было человеческим.

Он сел на койку, указанную ему, и трое сидевших на койках с открытыми книгами на коленях молча смотрели на него.

Один был массивный, лобастый, с бугристой мордой, с массой седых и неседых, по-бетховенски спутанных, курчавых волос над низким, мясистым лбом.

Второй — старик с бумажно белыми руками, с костяным лысым черепом и лицом, словно барельеф, отпечатанный на металле, словно в его венах и артериях тек снег, а не кровь.

Третий — типичный совслуж,— сидевший на койке рядом с Крымовым, был милый, с красным пятном на переносице от недавно снятых очков, несчастный и добрый. Он показал пальцем на дверь, едва заметно улыбнулся, покачал головой, и Крымов понял — часовой смотрел в глазок и надо было молчать.

Первым заговорил человек со спутанными волосами.

— Ну что ж, — сказал он лениво и добродушно, — позволю себе от имени общестственности приветствовать вооруженные силы. Откуда вы?

Крымов смущенно усмехнулся, сказал:

— Из Сталинграда.

— Ого, приятно видеть участника героической обороны. Добро пожаловать в нашу хату.

— Вы курите? — быстро спросил белолицый старик.

— Курю, — ответил Крымов.

Старик кивнул, уставился в книгу.

Тогда милый близорукий сосед сказал:

— Дело в том, что я подвел товарищей, сообщил, что не курю, и на меня не дают табака.

Он спросил:

— Вы давно из Сталинграда?

— Сегодня утром там был.

— Ого-го, — сказал великан, — Дугласом?

— Так точно, — ответил Крымов.

Старик громко захлопнул книгу, спросил у Крымова:

— Вы, очевидно, член коммунистической партии?

— Да, коммунист.

— Тише, тише, говорите только шепотом, — сказал милый и близорукий.

— Даже о принадлежности к партии, — сказал великан.

Его лицо казалось Крымову знакомым, и он вспомнил его: это знаменитый московский конферансье. Когда-то Крымов был с Женей на концерте в Колонном зале и видел его.

В это время открылась дверь, заглянул часовой и спросил:

— Кто на "ко"?

Великан ответил:

— Я на "кэ", Каценеленбоген.

Он поднялся, причесал пятерней свои лохматые волосы и неторопливо пошел к двери.

— На допрос, — шепнул милый сосед.

— А почему - "на кэ"?

— Это правило. Позавчера часовой вызывал его: "Кто тут Каценеленбоген на "кэ"?" Очень смешно.

— Да, обсмеялись, — сказал старик.

"А ты-то за что сюда попал, старый бухгалтер?" — подумал Крымов. — И я на "кэ".

Арестованные стали укладываться спать, а бешеный свет продолжал гореть, и Крымов чувствовал, что некто наблюда-

ет в глазок за тем, как он разворачивает портянки, подтягивает кальсоны, почесывает грудь. Этот свет был особый, он горел не для людей в камере, а для того, чтобы их лучше было видно. Если бы их удобней было наблюдать в темноте, их бы держали в темноте.

Старик-бухгалтер лежал, повернувшись лицом к стене. Крымов и его близорукий сосед разговаривали шепотом, не глядя друг на друга, прикрыв рот ладонью, чтобы часовой не видел, как шевелятся их губы.

Время от времени они поглядывали на пустую койку, — как-то острит сейчас конферансье на допросе.

Сосед шепотом сказал:

— Все мы в камере стали зайцами, зайками. Это как в сказке: волшебник прикоснулся к людям, и они обратились в ушастых.

Он стал рассказывать о соседях.

Старик был не то эсером, не то эсдеком, не то меньшевиком, фамилию его — Дрелинг — Николай Григорьевич где-то слышал. Дрелинг просидел в тюрьмах, политизоляторах и лагерях больше двадцати лет, приближался к срокам, достигнутым шлиссельбуржцами Морозовым, Новорусским, Фроленко и Фигнер. Сейчас его привезли в Москву в связи с новым заведенным на него делом — он в лагере надумал читать лекции по аграрному вопросу раскулаченным.

Конферансье имел такой же длительный лубянский стаж, как и Дрелинг, двадцать с лишним лет назад начал работать при Дзержинском в ВЧК, потом работал при Ягоде в ОГПУ, при Ежове в Наркомвнуделе, при Берии в Наркомате Госбезопасности. Он работал то в центральном аппарате, то возглавлял огромные лагерные строительства.

Ошибся Крымов и в отношении своего собеседника Боголеева. Совслуж оказался искусствоведем, экспертом музейного фонда, сочинителем никогда не опубликованных стихов.

Боголеев снова сказал шепотом:

— А теперь, понимаете, все, все исчезло, и стал из меня братик-кролик.

Крымову нестерпимо захотелось говорить о себе. Он не удержался и сказал:

— Меня оставила жена, мне не от кого ждать передачи. А кровать огромного чекиста была пустой до утра.

5

Когда-то, до войны, Крымов ночью проходил по Лубянке и заглядывал, что там, за окнами бессонного дома. Арестованные сидели во Внутренней тюрьме восемь месяцев, год, полтора — шло следствие. Потом родные арестованных получали письма из лагерей и возникали слова — Коми, Салехард, Норильск, Котлас, Магадан, Воркута, Колыма, Кузнецк, Красноярск, Караганда, Бухта Нагаево...

Но многие тысячи, попав во Внутреннюю тюрьму, исчезли навсегда. Прокуратура сообщала родным, что эти люди осуждены на десять лет без права переписки, но заключенных с такими приговорами в лагерях не было. Десять лет без права переписки, видимо, означало: расстрелян.

В письме из лагеря человек писал, что чувствует себя хорошо, живет в тепле и просил, если возможно, прислать чеснока и луку. И родные объясняли, что чеснок и лук нужны от цинги. О времени, проведенном в следственной тюрьме, никто никогда в письмах не писал.

Особенно жутко было проходить по Лубянке и Комсомольским переулком в летние ночи 1937 года.

Пустынно было на душных ночных улицах. Дома стояли темные, с открытыми окнами, одновременно вымершие и полные людей. В их покое не было покоя. А в освещенных окнах, закрытых белыми занавесками, мелькали тени, у подъезда хлопали дверцы машин, вспыхивали фары. Казалось, весь огромный город скован светящимся стеклянным взором Лубянки. Возникали в памяти знакомые люди. Расстояние до них не измерялось пространством, это было существование в другом измерении. Не было силы на земле и силы на небе, которая могла бы преодолеть эту бездну, равную бездне смерти. Но ведь не в земле, не под заколочен-

ной крышкой гроба, а здесь, рядом, живой, дышавший, мыслящий, плачущий, не мертвый же.

А машины все везли новых арестованных, сотни, тысячи, десятки тысяч людей исчезали за дверьми Внутренней тюрьмы, за воротами Бутырской, Лефортовской тюрем.

На места арестованных приходили новые работники в райкомы, наркоматы, в военные ведомства, в прокуратуру, в тресты, поликлиники, в заводоуправления, в месткомы и фабкомы, в земельные отделы, в бактериологические лаборатории, в дирекцию академических театров, в авиаконструкторские бюро, в институты, проектирующие гиганты химии и металлургии.

Случалось, что через короткое время пришедшие взамен арестованных врагов народа, террористов и диверсантов сами оказывались врагами, двурушниками, и их арестовывали. Иногда случалось, что люди третьего призыва тоже были врагами и их арестовывали.

Один товарищ, ленинградец, шепотом рассказывал Крымову, что с ним в камере сидели три секретаря одного из Ленинградских райкомов; каждый вновь назначенный секретарь разоблачал своего предшественника — врага и террориста. В камере они лежали рядом, не имея друг к другу злобы.

Когда-то в это здание вошел Митя Шапошников, брат Евгении Николаевны. С белым узелком подмышкой, собранным для него женой, — полотенце, мыло, две пары белья, зубная щетка, носки, три носовых платка. Он вошел в эти двери, храня в памяти пятизначный номер партийного билета, свой письменный стол в Парижском Торгпредстве, международный вагон, где он по дороге в Крым выяснял отношения с женой, пил нарзан и листал, зевая, "Золотого осла".

Конечно, Митя ни в чем не был виноват. Но все же посадили Митю, а Крымова ведь не сажали.

О том, как создавались подобные дела, Крымов слышал. Кое-какие сведения пришли от тех, кто шепотом говорил ему: "Но помни, если ты хоть одному человеку — жене, матери — скажешь об этом, я погиб".

Кое-что сообщали те, кто, разгоряченные вином и раздо-

садованные самоуверенной глупостью собеседника, вдруг произносили несколько неосторожных слов и тут же замолкали, а на следующий день, как бы между прочим, позевывая, говорили: "Да, кстати, я, кажется, плел вчера всякую ерунду, не помнишь? Ну, тем лучше".

Кое-что говорили ему жены друзей, ездившие в лагеря к мужьям на свидания.

Но ведь все это слухи, болтовня. Ведь с Крымовым ничего подобного не было.

Ну вот. Теперь его посадили. Невероятное, нелепое, безумное свершилось. Когда сажали меньшевиков, эсеров, белогвардейцев, попов, кулацких агитаторов, он никогда, ни разу, даже на минуту не задумывался над тем, что чувствуют эти люди, теряя свободу, ожидая приговора.

Конечно, когда снаряды стали рваться все ближе и ближе, калечить своих, а не врагов, он уже не был равнодушен.

Конечно, когда посадили нескольких человек, особенно близких ему, людей его поколения, он был потрясен, не спал ночью. Он думал о тех страданиях, которые переживают они, о страданиях их жен, матерей. Ведь то были не кулаки, не белогвардейцы.

И все же он успокаивал себя — как-никак Крымова-то не посадили, не выслали, он не подписывал на себя, не признавал ложных обвинений...

6

Дни шли, а Крымова не вызывали.

Он знал уже, когда и чем кормят, знал часы прогулки и срок бани, знал дым тюремного табака, время поверки, примерный состав книг в библиотеке, знал в лицо часовых, волновался, ожидая возвращения с допроса соседей. Чаще других вызывали Каценеленбогена. Боголеева вызывали всегда днем.

Горел свет, из крана текла вода, в миске был суп, но и свет, и вода, и хлеб были особые, их давали, они полагались. Когда интересы следствия требовали того, заключенных вре-

менно лишали света, пищи, сна. Ведь все это они получали не для себя, такая была методика работы с ними.

Костяного старика вызывали к следствию один раз, и, вернувшись, он надменно сообщил: — За три часа молчания гражданин следователь убедился, что моя фамилия действительно Дрелинг.

Боголеев был всегда ласков, говорил с обитателями камеры почтительно, спрашивал соседей о здоровье, сне.

Однажды он стал читать Крымову стихи, потом прервал чтение, сказал:

— Простите, вам, верно, не интересно.

Крымов, усмехнувшись, ответил:

— Скажу откровенно, не понял ни бельмеса. А когда-то читал Гегеля и понимал.

Боголеев очень боялся допросов, терялся, когда входивший дежурный спрашивал: "Кто на "б"?" Вернувшись от следователя, он казался похудевшим, маленьким, стареньким.

О своих допросах он рассказывал сбивчиво, жмурясь. Нельзя было понять, в чем его обвиняют, — то ли в покушении на жизнь Сталина, то ли в том, что ему не нравятся произведения, написанные в духе соцреализма.

Как-то великан-чекист сказал Боголееву:

— А вы помогите парню сформулировать обвинение. Я советую что-нибудь вроде такого: "Испытывая зверскую ненависть ко всему новому, я огульно охаивал произведения искусства, удостоенные Сталинской премии". Десятку получите. И поменьше разоблачайте своих знакомых, этим не спасетесь, наоборот, пришьют участие в организации, попадете в режимный лагерь.

— Да что вы, — говорил Боголеев, — разве я могу помочь им, они знают все.

Он часто шепотом философствовал на свою любимую тему: все мы персонажи сказки — грозные начдивы, парашютисты, последователи Матисса и Писарева, партийцы, геологи; чекисты, строители пятилеток, пилоты, создатели гигантов металлургии... И вот мы, кичливые, самоуверенные, переступили порог дивного дома, и волшебная палочка превратила

нас в чижиков-пыжиков, поросюшек, белочек. Нам теперь что — мошку, муравьиное яичко.

Дрелинг редко вступал в разговор, и, если говорил, то большей частью с Боголеевым, видимо, потому, что тот был беспартийным.

Но, говоря с Боголеевым, он часто раздражался.

— Вы странный тип, — как-то сказал он, — во-первых, почтительны и ласковы с людьми, которых вы презираете, во-вторых, каждый день спрашиваете меня о здоровье, хотя вам абсолютно все равно, сдохну я или буду жить.

Боголеев поднял глаза к потолку камеры, развел руками, сказал: — Вот послушайте, — и прочел нараспев:

— **Из чего твой панцирь, черепаха? —**

Я спросил и получил ответ:

— **Он из мной накопленного страха —**

Ничего прочнее в мире нет!

— Ваши стишки? — спросил Дрелинг.

Боголеев снова развел руками, не ответил.

— Бойтся старик, накопил страх, — сказал Каценеленбоген. После завтрака Дрелинг показал Боголееву обложку книги и спросил:

— Нравится вам?

— Откровенно говоря, нет, — сказал Боголеев.

Дрелинг кивнул.

— И я не поклонник этого произведения. Георгий Валентинович сказал: "Образ матери, созданный Горьким, — икона, а рабочему классу не нужны иконы".

— При чем тут икона? — сказал Крымов.

Дрелинг голосом воспитательницы из детского сада сказал:

— Иконы нужны всем. Вот в вашем коммунистическом киоте имеется икона Ленина, есть икона и преподобного Сталина. Некрасову не нужны были иконы.

Казалось, не только лоб, череп, руки, нос его были выточены из белой кости, слова его стучали, как костяные.

"Ох и мерзавец", — подумал Крымов.

Боголеев, сердясь (Крымов ни разу не видел этого кротко-

го, ласкового, всегда подавленного человека таким раздраженным), сказал:

— Вы в своих представлениях о поэзии не пошли дальше Некрасова. С той поры возникли и Блок, и Мандельштам, и Хлебников.

— Мандельштама я не знаю, — сказал Дрелинг, — а Хлебников — это маразм, распад.

— А ну вас, — резко, впервые громко проговорил Боголеев, — надоели мне до тошноты ваши плехановские прописи. Вы тут в нашей камере марксисты разных толков, но схожи тем, что к поэзии слепы, абсолютно ничего в ней не понимаете.

Костяной человек молчал.

В это время пришел часовой, повел Дрелинга в уборную. Каценеленбоген сказал Крымову:

— Дней пять мы сидели с ним в камере вдвоем. Молчит, как рыба об лед. Я ему говорю: "Курам на смех — два еврея, оба пожилые, проводят совместно вечера на хуторе близ Лубянки и молчат". Куда там! Молчит! К чему это презрение? Почему он не хочет со мной говорить? Страшная месть, или убийство священника в ночь под Лакбоймелом? К чему это? Старый гимназист.

Дрелинг, видимо, не на шутку занимал чекиста.

— Сидит за дело, понимаете! — сказал он. — Фантастика! А он как железный. Завидую я ему! Вызывают на допрос — кто на "д"? Молчит, как пень, не откликается. Добился, что его по фамилии вызывают. Начальство входит в камеру — убей его, не встанет.

Когда Дрелинг вернулся из уборной, Крымов сказал Каценеленбогену:

— Перед судом истории все ничтожно.

Дрелинг посмотрел с насмешливым любопытством на Крымова.

— Какой же суд, — сказал он, ни к кому не обращаясь, — это самосуд истории!

Напрасно завидовал Каценеленбоген силе костяного человека. Его сила уже не была человеческой силой. Слепой, бес-

человечный фанатизм согревал своим химическим теплом его опустевшее сердце.

Он не расспрашивал о фронтовых делах, о Сталинграде. Он не знал о новых городах, о могучей промышленности. Он уж не жил человеческой жизнью, а играл бесконечную, абстрактную, его одного касающуюся партию тюремных шашек.

Каценеленбоген очень интересовал Крымова. Крымов чувствовал, видел, что тот умен. Он шутил, трепался, балагурил, а глаза его были умные, ленивые, усталые. Такие глаза бывают у все знающих людей, уставших жить и не боящихся смерти.

Он советовал Крымову:

— Надо помогать следователю, он новый кадр, ему самому трудно справиться... А если сможешь ему, подскажешь, то и себе сможешь, избежишь сточасовых конвейеров. А результат ведь один — особое совещание влепит положенное.

Крымов пытался с ним спорить, и Каценеленбоген отвечал:

— Личная невинность — пережиток средних веков, алхимия. Толстой объявил — нет в мире виноватых. А мы, чекисты, выдвинули высший тезис — нет в мире невинных. Каждый человек имеет право на ордер. Даже тот, кто всю жизнь выписывал эти ордера на других. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти.

Он знал многих друзей Крымова, некоторые были ему знакомы в качестве подследственных по делам 1937 года. Говорил он о людях, чьи дела вел, как-то странно — без злобы, без волнения: "интересный был человек", "чудак", "симпатия".

Он часто вспоминал Анатоля Франса, "Думу про Опанаса", любил цитировать бабелевского Беню Крика, называл певцов и балерин Большого театра по имени и отчеству. Он собирал библиотеку редких книг, рассказывал о драгоценном томике Радищева, который достался ему незадолго до ареста.

— Хорошо, — говорил он, — если мое собрание будет передано в Ленинскую библиотеку, а то растащат дураки книги, не понимая их ценности.

Он был женат на балерине. Судьба радищевской книги, видимо, тревожила Каценеленбогена больше, чем судьба жены, и когда Крымов сказал об этом, чекист ответил:

— Моя Ангелина умная баба, она не пропадет.

Казалось, он все понимал, но ничего не чувствовал. Простые понятия — разлука, страдание, свобода, любовь, женская верность, горе — были ему непонятны. Волнение появлялось в его голосе, когда он говорил о первых годах своей работы в ВЧК. "Какое время, какие люди", — говорил он.

О Сталине он сказал:

— Я преклоняюсь перед ним больше, чем перед Лениным. Единственный человек, которого я по-настоящему люблю.

Но почему этот человек, участвовавший в подготовке процесса лидеров оппозиции, возглавлявший при Берии колоссальную заполярную гугаговскую стройку, так спокойно, примиренно относился к тому, что в своем родном доме ходил на ночные допросы, поддерживая на животе брюки со срезанными пуговицами? Почему тревожно, болезненно он относился к покаравшему его молчанием меньшевику Дрелингу?

А иногда Крымов сам начинал сомневаться. Почему он так возмущается, горит, сочиняя письма к Сталину, холодеет, покрывается потом? Мавр сделал свое дело. Ведь все это происходило в тридцать седьмом году с десятками тысяч членов партии, таких же, как он, получше, чем он. Мавр сделал свое дело. Почему ему так отвратительно теперь слово донос? Только лишь потому, что он сам сел по чьему-то доносу. Он ведь получал политдонесения от политинформаторов в подразделениях. Обычное дело. Обычные доносы. Красноармеец Рябоштан носит нательный крест, называет коммунистов безбожниками, долго ли прожил Рябоштан, попав в штрафную роту? Красноармеец Гордеев заявил, что не верит в силу советского оружия, что победа Гитлера неизбежна, долго ли прожил Гордеев, попав в штрафное подразделение? Красноармеец Маркевич заявил: "Все коммунисты воры, придет время, когда мы их поднимем на штыки и народ станет свободный", — трибунал присудил Маркевича к расстре-

лу. Ведь он, доносчик, доложил в Политуправление Фронта о Грекове, не угробила бы Грекова немецкая бомба, его бы расстреляли перед строем командиров. Что чувствовали, думали эти люди, которых посылали в штрафные роты, судили трибуналы, допрашивали в особых отделах?

Ночью Крымов проснулся, открыл глаза и увидел Дрелинга у койки Каценеленбогена. Бешеное электричество освещало спину старого лагерника. Проснувшись, Боголеев сидел на койке, прикрыв ноги одеялом.

Дрелинг кинулся к двери, застучал по ней костяным кулаком, закричал костяным голосом:

— Эй, дежурный, скорей врача, сердечный припадок у заключенного.

— Тише, прекратить! — крикнул подбежавший к глазку дежурный.

— Как тише, человек умирает! — заорал Крымов и, вскочив с койки, подбежал к двери, стал вместе с Дрелингом стучать по ней кулаком. Он заметил, что Боголеев лег на койку, укрылся одеялом, видимо, боялся участвовать в ночном ЧП.

Вскоре дверь распахнулась, вошли несколько человек.

Каценеленбоген был без сознания. Его огромное тело долго не могли уложить на носилки.

Утром Дрелинг неожиданно спросил Крымова:

— Скажите, часто ли вам, коммунистическому комиссару, приходилось сталкиваться на фронте с проявлением недовольства?

Крымов спросил:

— Какого недовольства, чем?

— Я имею в виду недовольство колхозной политикой большевиков, общим руководством войны, словом, проявлением политического недовольства?

— Никогда. Ни разу не столкнулся даже с тенью подобных настроений, — сказал Крымов.

— Так, так, понятно, я так и думал, — сказал Дрелинг и удовлетворенно кивнул.

Пиджак следователя казался странным для глаз, привыкших к миру гимнастеров и кителей. А лицо следователя было обычным, — таких желтовато-бледных лиц много среди канцелярских майоров и политработников.

Отвечать на первые вопросы было легко, даже приятно, казалось, что и остальное будет таким же ясным, как очевидны фамилия, имя, отчество.

В ответах арестованного чувствовалась торопливая готовность помочь следователю. Следователь ничего не знал о нем. Учрежденческий стол, стоявший между ними, не разъединял их. Оба они платили партийные членские взносы, слушали в ЦК инструктаж, их посылали в предмайские дни с докладами на предприятия.

Предварительных вопросов было много, и все спокойней становилось арестованному. Скоро дойдут они до сути, и он расскажет, как вел людей из окружения.

Вот, наконец, стало очевидно, что сидевшее у стола небритое существо с раскрытым воротом гимнастерки и со споротыми пуговицами имеет имя, отчество, фамилию, родилось в осенний день, русское по национальности, участвовало в двух мировых войнах и в одной гражданской, в бандах не было, по суду не привлекалось, в ВКП (б) состояло в течение двадцати пяти лет, избиралось делегатом Конгресса Коминтерна, было делегатом Тихоокеанского Конгресса Профсоюзов, орденов и почетного оружия не имеет...

Напряжение души Крымова было связано с мыслями об окружении, с людьми, шедшими с ним по белорусским болотам и украинским полям.

Кто из них арестован, кто на допросе потерял волю и совесть? И внезапный вопрос, касавшийся совсем иных, далеких лет, поразил Крымова:

— Скажите, к какому времени относится ваше знакомство с Фрицем Гаккеном?

Он долго молчал, потом сказал:

— Если не ошибаюсь, это было в ВЦСПС, в кабинете Томского, если не ошибаюсь, весной двадцать седьмого года.

Следователь кивнул, точно ему известно это далекое обстоятельство.

Потом он вздохнул, раскрыл папку с надписью "Хранить вечно", неторопливо развязал белые тесемки, стал листать исписанные страницы. Крымов неясно видел разных цветов чернила, видел машинопись, то через два интервала, то через один, размашистые и скупое наклепленные пометки красным, синим и обычным графитовым карандашом.

Следователь медленно листал страницы, — так студент-отличник листает учебник, заранее зная, что предмет проштудирован им от доски до доски.

Изредка он взглядывал на Крымова. И тут уж он был художником, проверяя сходство рисунка с натурой: и внешние черты, и характер, и зеркало духа — глаза...

Каким плохим стал его взгляд. Его обыкновенное лицо — такие лица часто встречались Крымову после 1937 года в райкомах, обкомах, в районной милиции, в библиотеках и издательствах — вдруг потеряло свою обычность. Весь он, показалось Крымову, как бы состоял из отдельных кубиков, но эти кубики не были соединены в единстве — человеке. На одном кубике глаза, на втором — медленные руки, на третьем — рот, задающий вопросы. Кубики смешались, потеряли пропорции, рот стал непомерно громаден, глаза были ниже рта, они сидели на наморщенном лбу, а лоб оказался там, где надо было сидеть подбородку.

— Ну вот, таким путем, — сказал следователь, и все в лице его вновь очеловечилось. Он закрыл папку, а вьющиеся шнуры на ней оставил незавязанными.

"Как развязанный ботинок", — подумало существо со споротыми со штанов и подштанников пуговицами.

— Коммунистический Интернационал, — медленно и торжественно произнес следователь и добавил обычным голосом, — Николай Крымов, работник Коминтерна. — И снова медленно, торжественно проговорил, — Третий Коммунистический Интернационал.

Потом он довольно долго молча размышлял.

— Ох, и бедовая бабенка Муська Гринберг, — сказал внезапно, с живостью и лукавством следователь, сказал, как мужчина, говорящий с женщиной, и Крымов смутился, растерялся, сильно покраснел.

Было! Но как давно это было, а стыд продолжался. Он, кажется, уже любил тогда Женю. Кажется, заехал с работы к своему старинному другу, хотел вернуть ему долг, кажется, брал деньги на путевку. А дальше он уже все помнил хорошо, без "кажется". Константина не было дома. И ведь она ему никогда не нравилась, басовитая от непрерывного курения, судила обо всем с апломбом, она в Институте философии была заместителем секретаря парткома, правда, красивая, как говорят, видная баба. Ох, это Костину жену он лапал на диване и ведь еще два раза с ней встречался...

Час тому назад он думал, что следователь ничего не знает о нем, выдвиженец из сельского района. И вот шло время, и следователь все спрашивал об иностранных коммунистах, товарищах Николая Григорьевича, — он знал их уменьшительные имена и шуточные клички, имена их жен, любовниц. Что-то зловещее было в огромности его сведений. Будь Николай Григорьевич величайшим человеком, каждое слово которого важно для истории, и то не стоило собирать в эту папку столько рухляди и пустяков.

Но пустяков не было.

Где бы он ни шел, оставался след его ног, свита шла за ним по пятам, запоминала его жизнь.

Насмешливое замечание о товарище, словцо о прочитанной книге, шуточный тост на дне рождения, трехминутный разговор по телефону, злая записка, написанная им в президиум собрания, — все собиралось в папку со шнурками. Слова его, поступки были собраны, высушены, составляли обширный гербарий.

Великое государство занималось его романом с Муськой Гринберг. Пустяковые словечки, мелочи сплетались с его верой, его любовь к Евгении Николаевне ничего не значила, а значили случайные пустые связи, и он уже не мог отличить

главного от пустяков. Сказанная им непочтительная фраза о философских знаниях Сталина, казалось, значила больше, чем десять лет его бессонной партийной работы. Действительно ли он в 1932 году сказал, беседуя в кабинете Лозовского с приехавшим из Германии товарищем, что в советском профдвижении слишком много государственного и слишком мало пролетарского? И товарищ стукнул.

Хрусткая и липкая паутина лезет в рот, ноздри.

— Поймите, товарищ следователь.

— Гражданин следователь.

— Да, да, гражданин. Ведь это мухлевка, предвзято. Я в партии на протяжении четверти века. Я поднимал солдат в семнадцатом году. Я четыре раза был в Китае. Я работал дни и ночи. Меня знают сотни людей... Во время Отечественной войны я пошел добровольно на фронт, в самые тяжелые минуты люди верили мне, шли за мной... Я...

Следователь спросил:

— Вы что, почетную грамоту сюда пришли получать? Наградной лист заполняете?

В самом деле, не о почетной грамоте он хлопочет.

Следователь покачал головой:

— Еще жалуется, что жена ему передач не носит. Супруг!

Эти слова сказал он в камере Боголееву. Боже мой! Каценеленбоген шутя сказал ему: "Грек пророчил: все течет, а мы утверждаем: все стучат".

Вся его жизнь, войдя в папку со шнурками, теряла объем, протяженность, пропорции... все сливалось в какую-то серую, клейкую вермишель, и он уже сам не знал, что значило больше: четыре года подпольной сверхработы в изнуряющей духоте Шанхая, Сталинградская переправа, революционная вера или несколько раздраженных слов об убогости советских газет, сказанных в санатории "Сосны" малознакомому литературоведу.

Следователь спросил добродушно, негромко, ласково:

— А теперь расскажите мне, как фашист Гаккен вовлек вас в шпионскую и диверсионную работу.

— Да неужели вы серьезно...

— Крымов, не валяйте дурака. Вы сами видите — нам известен каждый шаг вашей жизни.

— Именно, именно поэтому...

— Бросьте, Крымов. Вы не обманете органы безопасности.

— Да, но это ложь!

— Вот что Крымов. У нас есть признание Гаккена, он рассказал о вашей с ним преступной связи.

— Предъявите мне хоть десять признаний Гаккена. Это фальшивка! Бред! Если есть у вас такое признание, почему мне, диверсанту, шпиону доверили быть военным комиссаром? Где вы были, куда смотрели?

— Вас что, учить нас сюда позвали? Руководить работой органов, так, что ли?

— Я Гаккена знаю. Не мог он сказать, что вербовал меня. Не мог!

— Почему такое — не мог?

— Он коммунист, революционный борец.

Следователь спросил:

— Вы всегда были уверены в этом?

— Да, — ответил Крымов, — всегда!

Следователь, кивая головой, перебирал листы дела и, казалось, растерянно повторял:

— Раз всегда, то и дело меняется... и дело меняется...

Он протянул Крымову лист бумаги.

— Прочтите-ка, — проговорил он, прикрывая ладонью часть страницы.

Крымов, просматривая написанное, пожимал плечами.

— Дрянновато, — сказал он, отодвигаясь от страницы.

— Почему?

— У человека нет смелости прямо заявить, что Гаккен честный коммунист, и ему не хватает подлости обвинить его, вот он и выкручивается.

Следователь сдвинул ладонь и показал Крымову подпись Крымова и дату — февраль 1938 года.

Они молчали. Потом следователь строго спросил:

— Может быть, вас били, и потому вы дали такие свидетельские показания?

— Нет, меня не били.

А лицо следователя распалось на кубики, брезгливо смотрели раздраженные глаза, рот говорил:

— Вот так. А будучи в окружении, вы на два дня оставили свой отряд. Вас на военном самолете доставили в штаб группы немецких армий, и вы переслали важные данные, получили новые инструкции.

— Бред сивой кобылы, — пробормотало существо с расстегнутым воротом гимнастерки.

А следователь повел дальше свое дело. Теперь Крымов не ощущал себя идейным, сильным, с ясной мыслью, готовым пойти на плаху ради революции. Он ощущал себя слабым, нерешительным, он болтал лишнее, он повторял нелепые слухи, он позволил себе насмешливость по отношению к чувству, которое советский народ испытывал к товарищу Сталину. Он был неразборчив в знакомствах, среди его друзей многие были репрессированы. В его теоретических взглядах царила путаница. Он жил с женой своего друга. Он дал подлые, двурушнические показания о Гаккене.

— А до войны вы передавали для заграничного троцкистского центра сведения о настроениях ведущих деятелей международного революционного движения.

Не надо было быть ни идиотом, ни мерзавцем, чтобы подозревать в измене жалкое, грязное существо. И Крымов на месте следователя не стал бы доверять подобному существу. Он знал новый тип партийных работников, пришедший на смену партийцам, ликвидированным либо отстраненным и оттесненным в 1937 году. Это были люди иного, чем он, склада. Они читали иные книги и по-иному читали их, не читали, а "прорабатывали". Они любили и ценили материальные блага жизни. Они не знали иностранных языков, любили в себе свое русское нутро и по-русски говорили неправильно, произносили "прóцент", "пинжак", "Бёрлин", "выдающий деятель".

Крымов понимал, что и новые и старые кадры в партии объединены великой общностью, он всегда чувствовал свое превосходство над новыми людьми. Он не замечал, что сейчас

его связь со следователем уже не в том, что он готов был приблизить его к себе, признать в нем товарища по партии. Теперь желание единства со следователем состояло в жалкой надежде, что тот приблизит к себе Николая Григорьевича Крымова, хотя бы согласится, что не одно лишь плохое, ничтожное, нечистое было в нем.

И вдруг, сдирая с коры своего мозга разъедавшую его слабость, Крымов закричал:

— Вы ничего не добьетесь от меня! Я не подпишу ложных показаний! Слышите, вы? Под пыткой не подпишу!

Следователь сказал ему:

— Подумайте.

Он стал листать бумаги и не смотрел на Крымова. А время шло. Он отодвинул крымовскую папку в сторону и достал из стола лист бумаги. Казалось, он забыл о Крымове; писал он, не торопясь, прищурившись, собирая мысли. Потом он прочел написанное, опять подумал, достал из ящика конверт и стал надписывать на нем адрес. Возможно, это не было служебное письмо. Потом он перечел адрес и подчеркнул двумя чертами фамилию на конверте. Потом он наполнил чернилами автоматическую ручку, долго снимал с пера чернильные капли. Потом он стал чинить над пепельницей карандаши, грифельный стержень в одном из карандашей каждый раз ломался, но следователь не сердился на карандаш, терпеливо принимался наново затачивать его. Потом он пробовал на пальце острие карандаша.

А существо думало. Было о чем подумать.

Откуда столько стукачей? Необходимо вспомнить, распутать, кто доносил. Да к чему это? Муська Гринберг... Следователь еще доберется до Жени... Ведь странно, что ни слова о ней не спросил, не сказал... Неужели Вася давал обо мне сведения? Но в чем же, в чем же мне признаваться? Надо опасаться не вопросов следователя, а молчания, того, о чем молчит, — Каценеленбоген прав. Ну, конечно, начнет о Жене, ясно, ее арестовали. Откуда все пошло, как все началось? Да неужели я тут сижу? Какая тоска, сколько дряни в моей жизни. Зачем, зачем я разговаривал с этим литератором?

Да не все ли равно. Но при чем тут окружение? Почему, почему я тогда не сказал о Гаккене, — брат мой, друг, я не сомневаюсь в твоей чистоте. И Гаккен отвел от него свои несчастные глаза...

Вдруг следователь спросил:

— Ну, как, вспомнили?

Крымов развел руками, сказал:

— Мне нечего вспоминать.

Позвонил телефон.

— Слушаю, — сказал следователь, мельком взглянув на Крымова, проговорил: — Да, подготовь, скоро время заступать, и Крымову показалось, что разговор шел о нем.

Потом следователь положил трубку и снова снял ее. Удивительный это был телефонный разговор. Следователь болтал, по-видимому, с женой.

Сперва шли хозяйственные вопросы:

— В распределителе? Гуся, это хорошо... почему по первому талону не дали, Серегина жена в отдел звонила, по первому отоварила баранью ногу, нас с тобой позвали. Я, между прочим, взял творог в буфете, нет, не кислый, восемьсот грамм... а газ, как сегодня горит? Ты не забудь про костюм.

Потом он стал говорить:

— Ну, как вообще, не очень скучаешь, смотри у меня? Во сне видела? А в каком виде? Все же в трусах? Жалко... Ну, смотри у меня, когда приду, ты уже на курсы пойдешь... Уборку — это хорошо, только смотри, тяжелого не поднимай, тебе ни в коем случае нельзя.

В этой обыденности было что-то невероятное: чем более походил разговор на житейский, человеческий, тем меньше походил на человека тот, кто его вел. И в то же время Крымов ясно ощущал и себя не человеком, ведь при постороннем человеке не ведут подобных разговоров... "В губки целую... не хочешь... ну, ладно, ладно..."

Конечно, если по теории Боголеева, Крымов — ангорская кошка, лягушка, щегол или просто жук на палочке, ничего удивительного в этом разговоре нет.

Под конец следователь спросил:

— Подгорит? Ну, беги, беги, покедова.

Потом он вынул книгу и блокнот, стал читать, время от времени писал карандашиком, — может быть, готовился к занятиям в кружке, может быть, к докладу...

Со страшным раздражением он сказал:

— Что вы все время стучите ногами, как на физкультурном параде?

— Затекают ноги, гражданин следователь.

Но следователь снова ушел в чтение научной книги.

Минут через десять он рассеянно спросил:

— Ну как, вспомнил?

— Гражданин следователь, мне нужно в уборную.

Следователь вздохнул, подошел к двери, негромко позвал кого-то. Такие лица бывают у хозяев собак, когда собака в неурочное время просится гулять. Вошел красноармеец в полевой форме. Крымов наметанным взглядом осмотрел его: все было в порядке — поясной ремень заправлен, чистый подворотничок, пилотка сидела как надо. Только не солдатским делом занимался этот молодой солдат.

Крымов встал, ноги затекли от долгого сидения на стуле, при первых шагах подгибались. В уборной он торопливо думал, пока часовой наблюдал за ним, и на обратном пути он торопливо думал. Было о чем.

Когда Крымов вернулся из уборной, следователя не было, на его месте сидел молодой человек в форме, с синими, окантованными капитанским шнуром погонами. Капитан посмотрел на арестованного угрюмо, словно ненавидел его всю жизнь.

— Чего стоишь? — сказал капитан. — Садись, ну! Прямо сиди, хрен, чего спину гнешь? Дам в потрох— распрямишься.

"Вот и познакомились", — подумал Крымов, и ему стало страшно, как никогда не было страшно на войне.

"Сейчас начнется", — подумал он.

Капитан выпустил облако табачного дыма, и в сером дыму продолжался его голос:

— Вот бумага, ручка. Я, что ли, за тебя писать буду.

Капитану нравилось оскорблять Крымова. А, может быть, в этом была его служба? Ведь приказывают иногда на фронте артиллеристам вести беспокоящий огонь по противнику, — они стреляют день и ночь.

— Как сидишь? Ты спать сюда пришел?

А через несколько минут он окликнул арестованного:

— Эй, слушай, я, что ли, тебе не говорил, тебя не касается?

Он подошел к окну, поднял светомаскировку, погасил свет. Впервые со дня прихода на Лубянку Крымов увидел дневной свет.

"Скоротали ночь", — подумал Николай Григорьевич.

Было ли худшее утро в его жизни? Неужели, счастливый и свободный, несколько недель назад он беспечно лежал в бомбовой воронке, и над головой его выло гуманное железо?

Но время смешалось: бесконечно давно вошел он в этот кабинет, так недавно он был в Сталинграде.

Какой серый, каменный свет за окном, выходящим во внутреннюю шахту Внутренней тюрьмы. Помоги, не свет. Еще казенней, угрюмей, враждебней, чем при электричестве, казались предметы при этом утреннем свете.

Нет, не сапоги стали тесны, а ноги отекли.

Каким образом связали здесь его прошлую жизнь и работу с окружением 1941 года? Кто соединил несоединимое? Для чего это? Кому нужно все это? Для чего?

Мысли жгут так сильно, что он минутами забывал о ломоте в спине и пояснице, не ощущал, как набрякшие ноги распирала голенища сапог.

Гаккен, Фриц... Как я мог забыть, что в 1938 году сидел в такой же комнате, так, да не так сидел: в кармане был пропуск. Теперь-то вспомнил самое подлое: желание всем нравиться — сотруднику в бюро пропусков, вахтерам, лифтеру в военной форме. Следователь говорит: "Товарищ Крымов, пожалуйста, помогите нам". Нет, самым подлым было не желание нравиться. Самым подлым было желание искренности! О, теперь-то он вспомнил! Здесь нужна одна лишь искренность! И он был искренним, он припоминал ошибки Гак-

кена в оценке спартаковского движения, недоброжелательство к Тельману, его желание получить гонорар за книгу, его развод с Эльзой, когда Эльза была беременна... Правда, он вспоминал и хорошее.. Следователь записал его фразу: "На основе многолетнего знакомства считаю маловероятным участие в прямых диверсиях против партии, но не могу полностью исключить возможность двурушничества..."

Да весь он донес... Но почему он хотел быть искренним? Партийный долг? Ложь! Искренность была только в одном, — с бешенством стуча по столу кулаком, крикнуть: "Гаккен, брат, друг, невиновен!" А он нашаривал в памяти ерунду, ловил блох, он подыгрывал человеку, без чьей подписи его пропуск на выход из большого серого дома был недействителен. Он и это вспомнил — жадное, счастливое чувство, когда следователь сказал: "Минуточку, подпишу вам пропуск, товарищ Крымов". Он помог втрамбовать Гаккена в тюрьму. Куда поехал правдолюбец с подписанным пропуском? Не к Муське ли Гринберг, жене своего друга? Но ведь все, что он говорил о Гаккене, было правдой. Но и все, что о нем тут сказано, тоже ведь правда. Он ведь сказал Феде Евсееву, что у Сталина комплекс неполноценности, связанный с философской необразованностью. Жуткий перечень людей, с которыми он встречался: Николай Иванович, Григорий Евсеевич, Ломов, Шацкин, Пятницкий, Ломанидзе, Рютин, рыжий Шляпников, у Льва Борисовича бывал в "Академии", Лашевич, Ян Гамарник, Луппол, бывал у старика Рязанова в Институте, в Сибири дважды останавливался по старому знакомству у Эйхе, да в свое время и Скрыпник в Киеве, и Станислав Коссиор в Харькове, ну и Рут Фишер, ого... слава Богу, следователь не вспомнил главного, ведь в свое время Лев Давыдович к нему неплохо относился...

Да они виноваты не больше меня! Но я-то не подписал. Подожди, Николай, подпишешь. Наверное, главная гнусность припасена на закуску. Да, на социализм не очень похоже все это. Для чего партии нужно меня уничтожить? Ведь революцию мы совершали — не Маленков, не Жданов, не Щербаков. Все мы были беспощадны к врагам революции.

Почему же революция беспощадна к нам? А может быть, потому и беспощадна. А может быть, не революция, какая же революция, это — черная сотня, шпана.

Он толоч воду в ступе, а время шло.

Боль в спине и боль в ногах, изнеможение подминали его. Главное — лечь на койку, пошевелить босыми пальцами ног, задрать кверху ноги, чесать икры.

— Не спать! — кричал капитан, точно отдавал боевую команду.

Казалось, закрой Крымов на минуту глаза, и рухнет советское государство, фронт будет прорван.

За всю свою жизнь Крымов не слышал такого количества матюгов.

Друзья, милые его помощники, секретари, участники задушевных бесед собирали его слова и поступки. Он вспоминал и ужасался. "Это я сказал Ивану, только лишь Ивану", "был разговор с Гришкой, ведь с Гришкой мы знакомы с двадцатого года". "Этот разговор был у меня с Машкой Хельцер, ах, Машка, Машка".

Внезапно он вспомнил слова следователя, что не следует ему ждать передач от Евгении Николаевны... Ведь это его недавний разговор в камере с Боголеевым. До последнего дня люди пополняли крымowskiй гербарий.

Днем ему принесли миску супа, рука у него так дрожала, что приходилось наклонять голову и подхлебывать суп у края миски, а ложка стучала, выбивала дробь.

— Кушаешь, как свинья, — с грустью сказал капитан.

Потом было еще одно событие: Крымов попросился в уборную. Он уже ни о чем не думал, идя по коридору, но, стоя над унитазом, он все же подумал: хорошо, что спорили пуговицы, пальцы дрожат — ширинку не расстегнуть и не застегнуть.

Снова шло, работало время. Густой, серый туман стоял в голове, наверно, такой туман стоит в мозгу обезьяны. Не стало папки с вьющимися шнурками. Лишь одно — снять сапоги, чесаться, уснуть.

Снова пришел следователь.

— Поспали?— спросил капитан.

— Начальство не спит, а отдыхает, — наставительно сказал следователь, повторяя стародавнюю армейскую остроту.

— Правильно, — подтвердил капитан. — Зато подчиненные припухают.

Как рабочий, заступая на смену, оглядывает свой станок, деловито обменивается словом со своим сменщиком, так следователь глянул на Крымова, на письменный стол, сказал:

— А ну-ка, товарищ капитан.

Он посмотрел на часы, достал из стола папку, развязал шнурки, полистал бумаги и, полный интереса, живой силы, сказал:

— Итак, Крымов, продолжим.

И они занялись.

Следователя сегодня интересовала война. И снова его знания оказались огромны: он знал про назначения Крымова, знал номера полков, армий, называл людей, воевавших вместе с Крымовым, напоминал ему слова, сказанные им в политотделе, его высказывания о неграмотной генеральской записке.

Вся фронтовая работа Крымова, речи под немецким огнем, его вера, которой он делился с красноармейцами в тяжелые дни отступления, лишений, — все перестало существовать.

Жалкий болтун, двурушник разлагал своих товарищей, заражал их неверием и чувством безнадежности. Можно ли сомневаться, что немецкая разведка помогла ему перейти линию фронта для продолжения шпионской и диверсионной деятельности?

В первые минуты нового допроса Крымову передалось рачее оживление отдохнувшего следователя.

— Как хотите, — сказал он, — но я никогда не признаю себя шпионом!

Следователь поглядел в окно — уже начинало темнеть, он плохо различал бумаги на столе.

Он зажег настольную лампу, опустил синюю светомаскировку.

Угрюмый, звериный вой донесся из-за двери и вдруг прервался, стих.

— Итак, Крымов, — сказал следователь, вновь усаживаясь за стол.

Он спросил у Крымова, известно ли ему, почему его ни разу не повышали в звании, и выслушал невнятный ответ.

— Так-то, Крымов, болтались на фронте батальонным комиссаром, а надо бы вам быть членом Военного Совета Армии или даже фронта.

Он помолчал, в упор глядя на Крымова, пожалуй, впервые посмотрел по-следовательски, торжественно произнес:

— Сам Троцкий о ваших сочинениях говорил: "Мраморно". Захвати этот гад власть, высоко бы вы сидели! Шутка ли: "мраморно"!

"Вот они, козыри, — подумал Крымов, — выловил туза".

Ну, ладно, ладно, все он скажет — и когда, и где, но ведь и Сталину можно задать те же вопросы, к троцкизму Крымов не имел отношения, он всегда голосовал против троцкистских резолюций, ни разу — за.

А главное, снять сапоги, лечь, поднять разутые ноги, спать и одновременно чесаться во сне.

А следователь говорил тихо и ласково:

— Почему вы не хотите нам помочь? Разве дело в том, что вы не совершили преступлений до войны, что вы в окружении не возобновили связи и не установили явки... Дело серьезнее, глубже. Дело в новом курсе партии. Помогите партии на новом этапе борьбы. Для этого нужно отречься от прошлых оценок. Такая задача по плечу лишь большевикам. Поэтому я и говорю с вами.

— Ну, ладно, хорошо, — медленно, сонно говорил Крымов, — могу допустить, что помимо своей воли стал выразителем враждебных партии взглядов. Пусть мой интернационализм пришел в противоречие с понятиями суверенного, социалистического государства. Ладно, по своему характеру я стал после

тридцать седьмого года чужд новому курсу, новым людям. Я готов, могу признать. Но шпионаж, диверсии...

— Для чего же это "но"? Вот видите, вы уже стали на путь сознания своей враждебности делу партии. Неужели имеет значение форма? Для чего ваше "но", если вы признаете основное?

— Нет, я не признаю себя шпионом.

— Значит, вы ничем не хотите помочь партии. Разговор заходит до дела — и в кусты, так, что ли? Дерьмо вы, дерьмо собачье!

Крымов вскочил, рванул следователя за галстук, потом ударил кулаком по столу и внутри телефона что-то звякнуло, екнуло. Он закричал пронзительным, воющим голосом:

— Ты, сукин сын, сволочь, где был, когда я вел людей с боями по Украине и по брянским лесам? Где ты был, когда я дрался зимой под Воронежем? Ты, мерзавец, был в Сталинграде? Это я ничего не делал для партии? Это ты, жандармская морда, защищал советскую родину, вот тут, на Лубянке? А я в Сталинграде не защищал свое дело? А в Шанхае под петлей ты был? Это тебе, мразь, или мне колчаковец прострелил левое плечо?

Потом его били, но не по-простому, по морде, как во фронтовом особом отделе, а продуманно, научно, со знанием физиологии и анатомии. Били его двое, одетые в новую форму молодых людей, и он кричал им:

— Вас, мерзавцев, надо в штрафную роту... вам надо в расчете противотанкового ружья... дезертиры...

Они работали не сердясь, без азарта. Казалось, они били не сильно, без размаха, но удары были какие-то ужасные, как ужасно бывает подлое, спокойно произнесенное слово.

У Крымова полилась изо рта кровь, хотя по зубам его ни разу не ударили, и кровь эта шла не из носа, не из челюстей, не из прикушенного языка, как в Ахтубе... Это шла глубинная кровь из легких. Он уже не помнил, где он, не помнил, что с ним... Над ним снова появилось лицо следователя, он показывал пальцем на портрет Горького, висевший над столом, и спрашивал:

— Что сказал великий пролетарский писатель Максим Горький?

И вразумляюще, по-учительски ответил:

— Если враг не сдастся, его уничтожают.

Потом он увидел лампочку на потолке, человека с узенькими погончиками.

— Что ж, раз медицина позволяет, — сказал следователь, — хватит отдыхать.

Вскоре Крымов снова сидел у стола, слушал толковые вразумления:

— Будем так сидеть неделю, месяц, год... Давайте по-простому: пусть вы ни в чем не виноваты, но вы подпишите все, что я вам скажу. Вас после этого не будут бить. Ясно? Может быть, особое совещание осудит вас, но бить не будут, — это большое дело! Думаете, мне приятно, когда вас бьют? Дадим спать. Ясно?

Шли часы, беседа продолжалась. Казалось, уже ничем нельзя ошеломить Крымова, вывести его из сонной одури.

Но все же, слушая новую речь следователя, он удивленно полукротил рот, приподнял голову.

— Все эти дела давние, о них и забыть можно, — говорил следователь и показывал на крымовскую папку, — но вот уж не забудешь вашей подлой измены родине во время Сталинградской битвы. Свидетели, документы говорят! Вы вели работу, разлагающую политическое сознание бойцов в окруженном немцами доме "шесть дробь один". Вы толкали Грекова, патриота родины, на измену, пытались уговорить его перейти на сторону противника. Вы обманули доверие командования, доверие партии, пославших вас в этот дом в качестве боевого комиссара. А вы, попав в этот дом, кем оказались? Агентом врага!

Под утро Николая Григорьевича снова били, и ему казалось, что он погружается в теплое черное молоко. Снова человек с узенькими погончиками кивнул, обтирая иглу шприца, и следователь говорил:

— Что ж, раз медицина позволяет...

Они сидели друг против друга. Крымов смотрел на утом-

ленное лицо собеседника и удивлялся своему беззлобию, — неужели он хватал этого человека за галстук, хотел задуть его. Сейчас у Николая Григорьевича вновь возникло ощущение близости с ним. Стол уже не разделял их, сидели два товарища, два горестных человека.

Вдруг Крымову вспомнился недострелянный человек в окровавленном белье, вернувшийся из ночной, осенней степи во фронтовой особый отдел.

— Вот и моя судьба, — подумал он, — мне тоже некуда идти. Поздно уж.

Потом он просился в уборную, потом появился вчерашний капитан, поднял светомаскировку, потушил свет, закурил.

И снова Николай Григорьевич увидел дневной свет, хмурый, казалось, он шел не от солнца, не с неба, свет шел от серого кирпича Внутренней тюрьмы.

Кровати были пустыми — то ли соседей перевели, то ли они парились на допросе.

Он лежал расплосованный, потеряв себя, с заплыванной жизнью, с ужасной болью в пояснице, кажется, ему отшибли почки.

В горький час сокрушения жизни он понял силу женской любви. Жена! Только ей дорог человек, затоптанный чугунными ногами. Весь в харкотине, а она моет ему ноги, расчесывает его спутанные волосы, она глядит ему в закисшие глаза. Чем больше раскрыли ему душу, чем отвратительней он и презренной для мира, тем ближе, дороже он ей. Она бежит за грузовиком, она стоит в очереди на Кузнецком мосту, у лагерной ограды, ей так хочется послать ему несколько конфет, луковку, она печет ему на керосинке коржики, годы жизни она отдает, чтобы увидеться хоть на полчаса...

Не всякая женщина, с которой ты спишь, жена.

И от режущего отчаяния ему самому захотелось вызвать в другом человеке отчаяние.

Он сочинил несколько строк письма: "Узнав о случившемся, ты обрадована, не потому, что я раздавлен, а потому, что ты успела бежать от меня, и ты благословляешь свой крыси-

ный инстинкт, заставивший тебя покинуть тонущий корабль... один я..."

Мелькнул телефон на следовательском столе... здоровенный бугай, бивший его в бока, под ребра... капитан поднимает штору, тушит свет... шуршат, шуршат страницы дела, под их шуршание он стал засыпать.

И вдруг раскаленное кривое шило вошло в его череп, и показалось, что мозг смердит паленым: Евгения Николаевна донесла на него!

Мраморно! Мраморно! Слова, сказанные ему в утренний час на Знаменке, в кабинете председателя Реввоенсовета Республики... Человек с острой бородкой, со сверкающими стеклами пенсне прочел статью Крымова и говорил ласково, негромко. Он помнит: ночью он сказал Жене о том, что ЦК его отозвал из Коминтерна и поручил редактировать книжки в Политиздате. "А ведь когда-то был человеком", — и он рассказал ей, как Троцкий, прочитав его статью "Революция и реформа — Китай и Индия, сказал: "Мраморно".

Ни одному человеку он не повторил этих, сказанных с глазу на глаз, слов, только Женя слышала их, значит, следователь услышал их от нее. Она донесла.

Он не чувствовал семидесятичасовой бессонницы, он уже выпался. Заставили? Не все ли равно. Товарищи, Михаил Сидорович, я умер! Меня убили. Не пистолетной пулей, не кулаками, не бессонницей. Женя убила. Я дам показания и все признаю. Одно условие: подтвердите, что она донесла.

Он сполз с кровати и стал стучать в двери кулаком, закричал часовому, тотчас заглянувшему в глазок:

— Веди меня к следователю, я все подпишу.

Подошел дежурный, сказал:

— Прекратите шум, дадите показания, когда вызовут.

Он не мог оставаться один. Лучше, легче, когда бьют и теряешь сознание. Раз медицина позволяет...

Он проковылял к койке и, когда, казалось, уже не вынесет душевной муки, когда, казалось, вот-вот мозг его лопнет и тысяча осколков вонзятся в сердце, в горло, в глаза, он понял: Женечка не могла донести! И он закашлял, затрясся:

— Прости меня, прости. Мне не судьба быть счастливым с тобой, я в этом виноват, не ты.

И дивное чувство, может быть, впервые пришедшее к человеку в этом доме, с тех пор, как ступил в него сапог Дзержинского, охватило его.

Он проснулся. Напротив него грузно сидел Кеценеленбоген со спутанными бетховенскими волосами.

Крымов улыбнулся ему, и низкий мясистый лоб соседа нахмурился, Крымов понял, что Каценеленбоген принял его улыбку за проявление безумия.

— Вижу, дали вам сильно, — сказал Каценеленбоген, указывая на запачканную кровью гимнастерку Крымова.

— Да, дали сильно, — кривя рот, ответил Крымов. — А вы как?

— В больнице гулял. Соседи отбыли — Дрелингу особое сощещание дало еще десять лет, значит, тридцать имеет, а Боголеев переведен в другую камеру.

— А..., — сказал Крымов,

— Ну, выкладывайте.

— Я думаю, при коммунизме, — сказал Крымов, — МГБ будет тайно собирать все хорошее о людях. Все, связанное с верностью, честностью, добротой, агенты будут подслушивать по телефону, выискивать в письмах, извлекать из откровенных бесед и доносить о них на Лубянку, собирать досье.

Каценеленбоген, рассеянно слушая его, сказал:

— Это все верно, так и будет. Нужно только добавить, что, собрав такое лучезарное досье, вас доставят сюда, в большой дом, и все же шлепнут.

Он пытливо поглядел на Крымова, никак не мог понять, почему землисто-желтое лицо Крымова с запавшими, затекшими глазами, с черными следами крови на подбородке, улыбается счастливо и спокойно.

8

Вечера на хуторе близ Лубянки...

После допросов Крымов лежал на койке, стонал, думал, говорил с Каценеленбогеном.

Теперь Крымову уже не казались невероятными признания Бухарина и Рыкова, Каменева и Зиновьева, процесс троцкистов, право-левацких центров, судьба Бубнова, Муралова, Шляпникова. С живого тела революции сдиралась кожа, в нее хотело рядиться новое время, а кровавое живое мясо, дымящиеся внутренности революции шли на свалку, новое время не нуждалось в них. Нужна была шкура революции, эту шкуру и сдирали с живых людей. Те, кто натягивал на себя шкуру революции, говорили ее словами, повторяли ее жесты, но имели другой мозг, другие легкие, печень, глаза.

Теперь он жил, как раскаявшийся человек. Обыск, спорные пуговицы, снятые очки создавали в человеке ощущение физического ничтожества.

Тех, которые продолжали упорствовать в своем праве быть людьми, начинали расшатывать и разрушать, раскалывать, обламывать, размывать и расклеивать, чтобы довести их до той степени рассыпчатости, рыхлости, пластичности и слабости, когда люди не хотят уже ни справедливости, ни свободы, ни даже покоя, а хотят лишь, чтобы их избавили от ставшей ненавистной жизни.

В единстве физического и духовного человека заключался почти всегда беспроявительный ход следовательской работы. Душа и тело — сообщающиеся сосуды, и разрушая, подавляя оборону физической природы человека, нападающая сторона всегда успешно вводила в прорыв свои подвижные средства, овладевала душой и вынуждала человека к безоговорочной капитуляции.

Думать обо всем этом не было сил, не думать об этом тоже не было сил.

А кто же выдал его? Кто донес? Кто оклеветал? И он чувствовал, что ему теперь неинтересен этот вопрос.

Он всегда гордился тем, что умеет подчинять свою жизнь логике. Но теперь было не так. Логика говорила, что сведения о его разговоре с Троцким дала Евгения Николаевна. А вся его нынешняя жизнь, его борьба со следователем, его способность дышать, оставаться самим собой основывались на вере в то, что Женя не могла это сделать. Он удивлялся, как мог на

несколько минут потерять уверенность в этом. Не было силы, которая могла его заставить не верить Жене. Он верил, хотя знал, что никто, кроме Евгении Николаевны, не знал о его разговоре с Троцким, знал, что женщины изменяют, женщины слабы, знал, что Женя бросила его, ушла от него в тяжелую пору его жизни.

Он рассказал Каценеленбогену о допросе, но об этом случае не сказал ни слова.

Каценеленбоген теперь не паясничал, не балагурил.

Действительно, Крымов не ошибся в нем. Он был умен. Но страшно и странно было все то, что говорил он. Иногда Крымову казалось, что нет ничего несправедливого в том, что старый чекист сидит в камере Внутренней тюрьмы. Не могло быть иначе. Иногда он казался Крымову безумным.

Это был поэт, певец органов государственной безопасности.

Он с восхищением рассказал Крымову, как Сталин на последнем съезде партии во время перерыва спросил у Ежова, почему он допустил перегибы в карательной политике, и когда растерявшийся Ежов ответил, что он выполнял прямые указания Сталина, вождь, обращаясь к окружавшим его делегатам, грустно проговорил: "И это говорит член партии".

Он рассказал об ужасе, который испытывал Ягода...

Он вспоминал великих чекистов, ценителей Вольтера, знатоков Рабле, поклонников Верлена, когда-то руководивших работой в большом, бессонном доме.

Он рассказал о многолетнем московском палаче, милом и тихом старичке латыше, который, совершая казни, просил разрешения передать одежду казненного в детский дом. И тут же рассказал о другом исполнителе приговоров — тот пил дни и ночи, тосковал без дела, а когда его сняли с работы, стал ездить в подмосковные совхозы и колол там свиней, привозил с собой бутылки свиной крови, — говорил, что врач прописал ему пить свиную кровь от малокровия.

Он рассказал, как в 1937 году приводились еженощно в исполнение сотни приговоров над осужденными без права переписки, как дымили ночью трубы московского крематория,

как мобилизованные для исполнения приговоров и вывоза трупов комсомольцы сходили с ума.

Он рассказал о допросе Бухарина, об упорстве Каменева. А однажды они проговорили всю ночь до утра.

В эту ночь чекист развивал теорию, обобщал.

Каценеленбоген рассказал Крымову о поразительной судьбе нэпмана-инженера Френкеля. Френкель в начале НЭПа построил в Одессе моторный завод. В середине двадцатых годов его арестовали и выслали в Соловки. Сидя в Соловецком лагере, Френкель подал Сталину гениальный проект — старый чекист именно это слово и произнес: "гениальный".

В проекте подробно, с экономическими и техническими обоснованиями, говорилось об использовании огромных масс заключенных для создания дорог, плотин, гидростанций, искусственных водоемов.

Заключенный нэпман стал генерал-лейтенантом МГБ, — хозяин оценил его мысль.

В простоту труда, освященного простотой арестантских рот и старой каторги, труда лопаты, кирки, топора и пилы, вторгся двадцатый век.

Лагерный мир стал впитывать в себя прогресс, он осваивал транспортную и связную авиацию, радиосвязь и селекторную связь, станки-автоматы, современнейшие системы обогащения руд; лагерный мир проектировал, планировал, чертил, рождал рудники, заводы, новые моря, гигантские электростанции.

Он развивался стремительно, и старая каторга казалась смешной и трогательной, как детские кубики.

Но лагерь, говорил Каценеленбоген, все же не поспевал за жизнью, питавшей его. По-прежнему не использовались многие ученые и специалисты. Историки с мировыми именами, математики, астрономы, литературоведы, географы, знатоки мировой живописи, ученые, владеющие санскритом и древними кельтскими наречиями, не имели никакого применения в системе ГУЛага. Лагерь в своем развитии еще не дорос до использования этих людей по специальности.

Крымов слушал Каценеленбогена, казалось, ученый гово-

рит о главном деле своей жизни. Он не только воспевал и славил. Он был исследователем, он сравнивал, вскрывал недостатки и противоречия, сближал, противопоставлял.

Недостатки, конечно, в несравненно более мягкой форме существовали и по другую сторону лагерной проволоки. Немало есть в жизни людей, которые делают не то, что могли бы, и не так, как могли, в университетах, в редакциях, в исследовательских институтах Академии.

— В лагерях, — говорил Каценеленбоген, — уголовные главенствовали над политическими. Разнузданные, невежественные, ленивые и подкупные, склонные к кровавым дракам и грабёжам, уголовники тормозили развитие трудовой и культурной жизни лагерей.

И тут же он сказал, что ведь и по ту сторону проволоки работой ученых, крупнейших деятелей культуры подчас руководят малообразованные, неразвитые и ограниченные люди.

Лагерь давал как бы гиперболическое, увеличенное отражение запроволочной жизни. Но действительность по обе стороны проволоки не была противоположна, а отвечала закону симметрии.

И тут он заговорил не как певец, не как мыслитель, а как пророк.

Если смело и последовательно развивать систему лагерей, освободив ее от тормозов, это развитие приведет к стиранию граней. Лагерю предстоит слияние с запроволочной жизнью. В этом слиянии, в уничтожении противоположности между лагерем и запроволочной жизнью и есть зрелость, торжество великих принципов. При всех недостатках лагерной системы — в ней есть одно решающее преимущество. Только в лагере принципу личной свободы в абсолютно чистой форме противопоставлен высший принцип — разум. Этот принцип приведет лагерь к той высоте, которая позволит ему самоупраздниться.

— Когда уровни сравниваются, — сказал он, — и мы поставим знак равенства между жизнью, идущей по ту и по эту сторону проволоки, репрессии станут не нужны, мы перестанем выпи-

сывать ордера на аресты. Мы строим тюрьмы и политизоляторы. КВЧ — культурно-воспитательная часть — будет справляться с любыми аномалиями. Магомет и гора пойдут навстречу друг другу.

Упразднение лагеря будет торжеством гуманизма, и в то же время хаотический, первобытный, пещерный принцип личной свободы не выиграет, не воспрянет после этого. Наоборот, он будет полностью преодолен.

После долгого молчания он сказал, что, может быть, через столетия само упразднится и эта система и в своем самоупразднении породит демократию и личную свободу.

— Ничто не вечно под луной, — сказал он, — но мне не хотелось бы жить в то время.

Крымов сказал ему:

— Ваши мысли безумны. Не в этом душа и сердце революции. Говорят, что психиатры, долго проработавшие в психиатрических клиниках, сами становятся безумными. Простите, но вас все же не зря посадили. Вы, товарищ Каценеленбоген, наделяете органы безопасности атрибутами божества. Вас, действительно, пора сменить.

Каценеленбоген добродушно кивнул:

— Да, я верю в Бога. Я темный, верующий старик. Каждая эпоха создает божество по подобию своему. Органы безопасности разумны и могущественны, они господствуют над человеком двадцатого века. Когда-то такой силой, и человек обожествлял ее, были землетрясения, молнии и гром, лесные пожары. А посадили ведь не только меня, но и вас. Вас тоже пора сменить. Когда-нибудь выяснится, кто все же прав — вы или я.

— А старичок Дрелинг едет сейчас домой, обратно в лагерь, — сказал Крымов, зная, что слова его не пройдут даром. И, действительно, Каценеленбоген проговорил: — Вот этот поганый старичок мешает моей вере.

— Передали недавно — наши войска завершили разгром сталинградской группировки немцев, вроде, Паулюса захватили, я, по правде, плохо разобрал.

Крымов закричал, стал биться, возить ногами по полу, захотелось вмешаться в толпу людей в ватниках, валенках... шум их милых голосов заглушал негромкий, шедший рядом разговор.

Врач держал Крымова за руку, говорил:

— Надо бы сделать перерывчик... повторно камфору, выпадение пульса через каждые четыре удара.

Крымов проглотил соленый ком и сказал:

— Ничего, продолжайте, медицина позволяет, я все равно не подпишу.

— Подпишешь, подпишешь,— с добродушной уверенностью заводского мастера сказал следователь, — и не такие подписывали.

Через трое суток кончился второй допрос, и Крымов вернулся в камеру.

Дежурный положил около него завернутый в белую тряпицу пакет.

— Распишитесь, гражданин заключенный, в получении передачи, — сказал он.

Николай Григорьевич прочел перечень предметов, написанный знакомым почерком, — лук, чеснок, сахар, белые сухари. Под перечнем было написано: "Твоя Женя".

Боже, Боже, он плакал...



Юрий ДРУЖНИКОВ

СМЕРТЬ ФЕДОРА ИОАННОВИЧА

В театр Федор Петрович Коромыслов всегда ходил пешком, а сегодня заколебался, не взять ли ему такси. Но, учитывая приподнятость настроения, решил традиции не изменять.

Новый энергичный главный режиссер Яфаров /говорят, с большими связями/ позвонил часа три назад и, как ни в чем не бывало, стал расспрашивать о самочувствии. Коромыслов дулся на Яфарова с тех пор, как тот, воздавая Федору Петровичу почести, одновременно вытеснял его из спектаклей, пока не выпер на пенсию. И раз звонил теперь, что-то ему нужно. Коромыслов уже заготовил отказ, когда Яфаров произнес:

— А у нас замена сегодня. "Федора" даем. С тобой...

— То есть? Ведь Скаковский — молодой талант, твои слова!

— Мои... Но сейчас худсовет решил в твою пользу.

— А репетиция? — возразил Коромыслов, хотя про себя уже согласился. — Без прогона не потяну.

— Какая, к дьяволу, репетиция! Ты его раз триста играл.

— Больше. А все же надо бы. Ну, если что — пеняй на себя.

Чувство своей незаменимости заставило Федора Петровича забыть обиду. Погорячились они тогда, молодежь, а сейчас осознали. Бог их простит. Театру я принадлежу, не им. Театр меня призвал.

Отшагав Большой Харитоньевский и кусок Садового кольца до метро "Красные ворота", которое он упрямо не называл "Лермонтовским", он скосил глаза на новый памятник молоденькому Лермонтову. Памятник едва было видно в сизом дыме от ревуших грузовиков, двигавшихся густым потоком. Коромыслов ничего не имел против Лермонтова, но и тот, бронзовый, предназначенный выразить восторг от встречи с грузовиками, стал противен.

С каждым годом это становилось все невыносимее, и дело не в брюзжании Федора Петровича: был тихий переулок, а теперь не продохнешь. Мясницкие ворота стали Кировскими, Кировские — Тургеневской площадью, и нет зуду конца. Стоит раз переименовать, и все хлипчает, и уже не история, а газетные листы ценой в две копейки. Что осталось от Москвы, простоявшей века? А от России что осталось?

Он ворчал по привычке, а в настроении была бодрость. Он любил Москву и не только говорил, но и действительно считал, что не променяет ее ни на какой другой город мира /в других странах он, правда, не бывал/, и хотел бы закончить дни здесь, где родился, хотя о конце не думал.

Выйдя из дому, он вспомнил, что в возбуждении не пообедал. Домработница Нюша, которая ходила за ним, как за ребенком, без малого тридцать семь лет, оставила ему инструкцию, в какой кастрюле что, и поехала проверить, не обокрали ли дачу. Нюша боготворила его; одно время они и спали вместе, когда зимы были холодные, плохо топили и вдвоем было теплей. Коромыслов в молодости долго любил женщину, которая состояла замужем за другим актером, обещала оставить мужа, но не решилась. Из-за ожидания Федор Петрович остался бездетным холостяком, время от времени удовлетворяясь случайными закулисными соединениями.

Нюша была права, и надо было пообедать. Нюша всегда оказывалась на практике права, может, именно потому Коромыслов на ней и не женился.

Не в силах утолить голод, он стал думать о ресторанах. Не о тех, с тухлым запахом давно не мытой посуды, которые попадались ему по дороге, где и слова-то человеческого не услышать, не то что поесть. Сама мысль заглянуть туда отвращала от еды. Он завспоминал старые заведения, в которых побывал до переименований улиц, обычаев и всего остального. За теми окнами, где сейчас рыгают командированные с Севера, тогда не просто обедали, но коротали досуг, дискутировали о судьбах России, работали. Что говорить! Станиславский с Немировичем в "Славянском базаре" познакомились. За столиком в "Эрмитаже" Власий Дорошевич фельетоны строчил, закусывая куриными потрошками. А Пров Садовский за чарочкой часами просиживал между спектаклями и репетициями.

Размышления эти кончились тем, что Коромыслов вошел в булочную, купил черствый батон, отломил горбушку, выбросил остальную часть в урну и, поругивая Нюшу, которая могла бы съездить на дачу в другой день, стал жевать.

Осень, любимое время Федора Петровича, стояла ветреная и бессолнечная; с деревьев все посдувало, а снег не собирался лечь. Притупив голод и не ощущая холода, Коромыслов в приятной возбужденности легко двигался за кварталом квартал и чувствовал себя помолодевшим и совершенно вне времени. Его обгоняли дрожки, respectable кареты с гикающими кучерами, ландо, сани, крытые медвежьей шкурой, грузовички с солдатами, эмки и зисы, волги и чайки, а он шагал себе в театр, подгоняемый уличным сквозняком. Тут встретил Есенина в цилиндре и полосатом шарфе, чисто выбритого и слегка пьяного, как теперь говорят. Возле того угла гаркнул "здравия желаю" Маяковский — этот робот всегда по самому краю тротуара шаги отмерял. Вот здесь-то Марина Цветаева ему пальцем грозила — никак он не вспомнит, за что. Войдя в служебный вход, Федор Петрович покло-

нился вахтеру и занес ногу над ступенькой, когда сбоку из темноты услышал:

— Вы к кому?

— А вы-то, собственно, кто таков? — удивился Федор Петрович, обернувшись к приятному молодому человеку в сером костюме.

— Это же Коромыслов! — объяснил вахтер.

— Понятно! — молодой человек отступил в тень.

Коромыслов пожал плечами и стал подниматься по лестнице. По коридорам, между уборными, ходили новые люди, похожие, по опытному взгляду, на статистов. Впрочем, два раза к нему бросились с объятиями и трогательными эмоциями, а костюмерша Фаня зарыдала, упав ему на грудь, и он долго не мог ее успокоить.

— Сейчас я... Мигом все принесу... Раздевайтесь пока, — причитала она, пятясь к двери. — Вы такой молодой, такой... А я мужа похоронила, водка проклятая, не то бы жил, как вы...

Переодевшись, он начал, не торопясь, гримироваться еще до получасового сигнала готовности к спектаклю. Он был спокоен и размерен в движениях, будто четырехмесячного перерыва не было вовсе. Приклеив бороду, прижал ее пальцами, чтобы дать клею схватить. Слыша голоса в коридоре, Коромыслов, однако, чувствовал, что температура за кулисами выше нормальной, и по эмоциям встречавших его отнес это к себе, — не из-за нескромности, а просто констатируя факт. Суэта мешала сосредоточиться, начать другую, царскую жизнь.

На телеэкране пошла рябь и возник занавес. Ведущий спектакля помреж Фалькевич поздоровался и предупредил коллектив об особой тщательности подготовки. Затем он прибавил:

— Вводится народный артист Коромыслов. Труппа вас приветствует, Федор Петрович. Как там у вас дела? Впрочем, Яфаров вот-вот зайдет к вам.

Яфаров вбежал раскрасневшийся, прокатился лысоватым колобком и сзади положил Коромыслову руки на плечи.

Говорили, глядя друг на друга в зеркале. Яфаров оглядывал Федора Петровича с заботой и даже нежностью.

— Вот здесь, — он указал на левый край бороды, сам взял кисточку, подмазал и прижал к щеке. — Уж ты, постарайся, Федор Петрович, не посрами!

— Да перед кем не посрамить-то? — воскликнул Коромыслов, и проскользнула вдруг мыслишка в подкорке. — Скажи, братец, Бога ради, уважь старика!

— А разве я не сказал? — схитрил Яфаров, но сыграл искреннее удивление. — Значит, запоматывал, извини. Сегодня Сам у нас в ложе.

— Это кто — Сам?

— Подумай, тогда и вопрос отпадет. Ну!.. То-то! Ведь Сам "Царя Федора" шесть раз смотрел и всегда с тобой... Зачем же нам рисковать с заменой? Вся надежда на тебя. Спасай, отец, театр!

— Не бойсь, Яфаров! Я таких Самов столько перевидел. Самы уходят, а театр все стоит, батенька ты мой!

— Тсс, — Яфаров приложил палец к губам. — Знаешь ведь, какое о нас сейчас мнение. Дескать, растеряли традиции. Я, допустим, решительно не согласен, мы идем вперед. Но не можем мы запретить иное думать. А если наверх дойдет?

— Суэта! Искусство, братец, выше суеты.

— Это куда ты не главный режиссер, — уныло пробурчал Яфаров. — Сегодня с полдня театр лихорадит. Везде личная охрана: "Куда эта лестница?.. Люк заprite на замок... А тот прожектор — в ложу не будет слепить? Это заprite, перекроем, зрителям хватит других..." Правильно, конечно, мало ли что?.. Побегу, взгляну с противоположной стороны в ложу. Если опаздывает, придется задержать.

А все же тот факт, что Яфаров лебезил, был приятен. Старая гвардия не сдается, и мы пока что незаменимы. Сам тоже это понимает, раз пришел. Шесть раз смотрел и последние два раза всплакнул. Федору Петровичу после осветитель говорил, в каком точно месте. Плакать Сам стал оттого, что постарел, а все же это тоже приятно. И симпатия к нему

проскользнула у Коромыслова. Теперь он покажет всем, каков их царь Федор и каков его.

Тихо и размеренно пошел спектакль. Отключившись от брэнной жизни, царь Федор прошествовал по коридору, поправляя перстни на пальцах, и стал медленно подниматься по винтовой лестнице. Голос помрежа Фалькевича "Коромыслов, ваш выход!" прозвучал в пустой уборной. Двое рослых молодых людей в штатском загоразживали железную дверь на сцену. Царь Федор сделал величественный жест мизинцем, и они отпали к перилам, скороговоркой проговорив: "Пжалста..."

Зал встретил Коромыслова гудением узнавания, после чего пошел бурный аплодисмент, и царь Федор задержал вводную реплику. Несмотря на это, он постарался войти в действие незаметно, сдержанно, и только потом, разогреваясь в Федоровских метаниях, сомнениях и страхах, набирал глубину. Труд и опыт долгих лет спрессовался, и алмаз заиграл теперь, заискрился, освободившись от оков брэнного актерского "я". В какой-то момент это "я" напомнило: снижаешь образ, переигрываешь до юмора; раз ты почувствовал это, вот-вот схватят и Ирина, Клешнин, Шуйский, а там и до зрителя дойдет. Но задев эти струны, Федор Петрович не мог остановиться. Он играл уже себя, каким он был бы на месте царя, и это было как озарение, впрочем, возможно, неуместное. Уходя со сцены под продолжительные аплодисменты, он думал удовлетворенно, что царя, мечущегося и слабого, — он подал сегодня, как никогда, и до Самого достигло. Коромыслову этого хотелось.

Яфаров, между тем, принял царя Федора у кулисы в объятия и в ухо ласково прошептал:

— Сам дважды аплодировал, и жена тоже. Оба раза тебе. Спасибо, отец! Проси все, что хочешь!..

Второй акт мчался для Коромыслова на едином дыхании. Труппа потянулась за старым рубакой, голос которого метался между слабостью и силой, между ненавистью и лаской, и Коромыслов был уверен, что зал, как всегда, поддался его гипнозу.

Не занятый в очередной картине Федор Петрович едва успел самодовольно расслабиться на диване, чтобы отдышаться, как вбежал Яфаров.

— Беда-то, беда-то, ох ты, Господи! — слова лились из него в беспорядке. — Ведь в середине еще акта я глядел, все было в ажуре. То есть выражения, конечно, не угадал, темно, тень в ложе. А сейчас нету, пустота!

— Может, по нужде прошел?

— А охрана? Охрану-то сняли!

— Без него охрана не уйдет. Уехал. Это бывает. Мало ли какие дела? Может, международные. Войну кто объявил...

— Ох, Федор Петрович, оптимист ты! А если не понравилась?

— Ну, почему сразу "не понравилось"? Переел чего, желудок схватило или почки... Он ведь постарше меня. Да просто спать захотел!

— Спать? У нас в театре?! Ну, знаешь!.. — Яфаров причитал, больше не слушая встречных доводов. — С кем посоветоваться? У кого узнать? Хоть бы намекнул кто. Плакали наши гастроли в ФРГ.

— Брось! Одному царю не понравился другой, только и делов. Нешто мы непривыкшие? Россия, братец, — родина царей.

— Ежели ты такой храбрый, вот и позвони туда, в секретариат. Представься посольств, побренчи заслугами, объясни: так, мол, и так, как следует толковать? Да не крути носом! Не мне надо — народу! Вон Охлопков, когда его назначили замминистра культуры, сказал: "Мне легко, я на сцене царей играл". И тебе должно быть легко позвонить. Давай, в антракте. Попробуй, голуба!

Яфаров убежал.

Коромыслову перевоплощение в цари давалось тяжелым напряжением сил, и его уверенность в себе колебаться не имела права. Сам ушел, не дождаввшись того места, где плакал. Значит, не в нем, Коромыслове, дело, и он не может быть виноват. А в чем же эта беда, постигшая театр? Яфаров прав: попытка — не пытка. Чепуха так чепуха, а если серьез-

но,— узнать, что же именно. Федора Петровича потребовали на выход, он встал и пошел, неся с собой на сцену внезапно свалившуюся заботу, и ответственность, и даже торжество: доказать Яфарову, что не он виноват, а они, использовать внезапно представившийся шанс.

Давно он не волновался перед выходом на сцену. Это была работа. Но тут, ожесточившись на самого себя, он пребывал в напряжении, которое никак не мог подавить привычными усилиями тренированной актерской воли. Судорога парализовала движения. Вялость разлилась по телу и не проходила.

Поставив декорации восьмой картины, рабочие разбежались за кулисы.

— Подол я вам подшила, Федор Петрович, — прошептала Фаня, — не беспокойтесь.

Он не заметил, что она стояла позади него на коленях. Кивнув, он смотрел на желтые и красные софиты, которые зажигались парами, подсвечивая своды царских хором. Судорога прошла, но не хватало воздуха. К горлу подступил комок страха. Страх просунул костлявые пальцы под ребра и больно сдавил сердце.

— Что-то света много, сплит! — сказал Коромыслов.

— Не может того быть, Федор Петрович. Это как всегда. Софиты не меняли.

Он отпустил кулису и прошел на сцену, усевшись в резное царское кресло. Его одежды, хотя и на марле и мех не соборлей — синтетика, мешали дышать.

— Занавес! — донесся до него из репродуктора голос Фалькевича, и сразу загудел мотор.

Из зала хлынула волна воздуха, и боль исчезла. Царь Федор обтер пот с лица, как того требовала роль, и погрузился в государственные бумаги. Ирина положила ему на плечо руку:

— Ты отдохнул бы, Федор...

Давно привык Коромыслов: едва он начинал работать, в зале устанавливалась тишина, хотя он еще не бросил ни реплики. А говоря, он умел полностью владеть залом. Мог смять

его в комок или расшевелить одним жестом, одной интонацией.

Но тут тишина в зале стояла особая. Никто не кашлянул, не задел о подлокотник биноклем, будто боль коромысловского сердца передалась всем, и все боялись дохнуть, чтобы у него не кольнуло под лопаткой.

Сидя на троне, он незаметно расслабил тело и чуть прищурил глаза. Так стало легче говорить. Но уже надо было встать, потому что вошел Клешнин "от хворого от твоего слуги, от Годунова". Коромыслов, играя, никогда не думал, что должен сделать в данный момент. Все свершалось само собой, и режиссерские находки автоматизировались в нем, шли от самого его существа, и он уже был собой на сцене, если бы не эта жгущая боль.

Он старался едва заметно повернуть лицо к залу, оттуда тек воздух, и ему было легче глотать его. Он подумал о нитроглицерине. Нюша всегда клала ему трубочку во внутренний карман, на всякий случай специально пришитый. Но чтобы достать нитроглицерин, нужно расстегнуть тяжелое платье. Он ощупал пуговицы, а той, которую надо отстегнуть, не нашел. Пуговица эта давно оторвалась, и петлю тогда зашила суровой ниткой Фаня. Она его загонит в могилу. Федор Петрович хотел рассердиться, но отложил это на потом. А теперь, чтобы достать нитроглицерин, попробовал рвануть пришитую петлю. Оторвать ее не хватило сил, и он продолжал играть...

Коромыслову шел семидесятый год, не так уж много для человека его комплекции и здоровья.

— Я мужик, меня ничто не берет, — хвастался он и давал потрогать бицепс.

Сердце стало пошаливать последние года полтора. И почему-то сразу сильно.

Не ходил он к врачам, не жаловал их с детства. А весной наскоком устроили в театре профилактический осмотр всех поголовно. Не хотелось казаться упрямым стариком перед молодыми, и дал он себя щупать. Врачиха послушала его и перешла к соседу. Коромыслов усмехнулся и стал снимать вазелином грим. Но она вернулась, снова слушала и морщи-

лась. Потом взяла листок бумажки, написала номер своего кабинета и велела зайти завтра к ней в поликлинику.

— Хоть вы и царь, — сказала врачиха, — а сердце у вас, как у овечки. Манкировать не советую.

Он был абсолютно уверен, что это чепуха. Но электрокардиограммы, анализы крови, мочи и еще чего-то скоро выросли в толстенную историю болезни, которую он назвал комедией из своей жизни и которую в руки ему врачи не давали.

Когда обследования кончились, его пригласили на комиссию. Профессор Бродер, который годился ему в сыновья, встал и поучительно положил ему руку на плечо:

— Я уважаю вас, не раз видел на сцене, знаю, что театру без вас будет плохо, и вам без театра..., — Бродер не договорил и посмотрел в глаза Коромыслову.

Не понял тогда Федор Петрович, в чем дело, или просто не хотел понять и рассказал Бродеру историю, которую ему поведал актер Абдулов. Тот однажды лежал один с приступом грудной жабы. Еле-еле дополз он до телефона и звонит врачу. Врач отвечает, что болен. "Лучше приходите, — говорит ему Осип, — а то я умру, и вы будете отвечать". Врач пришел и упал. Абдулов притащил его на постель и, слушая его указания, стал лечить. Привел он врача в чувство, с сердцем у врача полегчало, и тот ушел домой. Через несколько дней, когда сам Абдулов пришел в себя, он опять позвонил врачу справиться о здоровье. Ему ответили: "Доктор умер..."

Бродер слушал со снисходительной улыбкой.

— Отсюда вывод: на сцену раз в неделю, а больше — через мой труп. Катайтесь себе по санаториям, кроме юга, конечно. Гуляйте по скверику, уезжайте на дачу. За девушками можно... подглядывать. Иначе — за последствия не отвечаю.

Скрыл Коромыслов эту кутерьму от дирекции, а Бродер тоже оказался не лыком шит: увидел имя пациента на афише и позвонил Яфарову. Тот козырь использовал немедленно.

Безо всякой ложной скромности Федор Петрович полагал, что театр с его уходом терял свое величие, и компенсировать утрату нечем. Яфаров считал иначе: прогресс искусства не-

остановим, и новое должно, согласно диалектике, побеждать старое. Практически Яфаров под этим подразумевал выведение на первые роли своих людей, а заодно избавление от тех стариков, которые своим занудством и ссылками на классику препятствовали принятию новых пьес из министерства культуры. Трудность оставалась только с "Царем Федором". Отменять постановку, идущую с 1896 года, не разрешали, и теперь худсовет собрался, чтобы найти выход, то есть компенсацию Коромыслову. Ввели нового Федора — Скаковского. К шестому прогону тот пообтесался, и спектакль пошел без Коромылова, будто его и не было никогда.

Доживающие до пенсии актеры утешали:

— Ну, чего нам, Федя, нужно? Талант, деньги, слава, ордена, дача — все тебе дадено. Смири гордыню! Собирай теперь спичечные этикетки, как Качалов. Или черепаху купи и гляди, как ползет. Да оглянись на свое прошлое существование: отдыхали мы когда-нибудь? Зациклился ты, Федя, уймись!..

Не возражал он, только рассматривал советчиков как диковинные экспонаты. В чем они хотят его убедить?

Был он гибридом простых и благородных кровей. Отец его, потомственный дворянин, две трети сознательной жизни провел во Франции, а в один из заездов согрешил с молоденькой прислужгой, зачав народного артиста СССР. До революции Коромыслов выпячивал первую ветвь своих предков, после — вторую. Мальчишкой в десятых годах бегал он в этот театр, деньги собирал по копейке, экономя на гимназических завтраках. В революцию он остался без родителей, голодал и обивал порог театра, чтобы попасть кем-нибудь, лишь бы внутрь. Театральный буфетчик приспособил его гардеробщиком, поскольку за право иметь доход от буфета обязан был содержать гардероб бесплатно. Повесив пальто, Федор надрывал живот над ящиками с бутылками сидра и шампанского, таща их на второй этаж, а раздав пальто, мыл и протирал стаканы. На репетициях он носил чай в уборные к артистам, и его любили за то, что не отказывал принести рюмашечку по-тихому и ловко пародировал. В пародии он попался на глаза

Мейерхольду, тот сказал о нем Немировичу. Немирович, бывший по совместительству Данченко, заметил:

— Этого страшно выпускать статистом. Уж больно он внимание на себя берет.

Но — дал роль. И с того момента, как сказал Коромыслов в ЦДРИ на своем чествовании по случаю шестидесятилетия, я стал солистом богемы. От богемы-то одно название, а остальное — пот. В поту и пошла далее его жизнь, а то, что было до, кроме и после — было предисловием, примечаниями, комментариями, которые вполне можно выкинуть.

Приняв его тело, театр потребовал душу. С детства он был человеком набожным, но теперь в церковь ходить остерегался, и Нюша на всякий случай перевесила Богородицу к себе в комнату. Потом пошло в театре веяние, что героев Октября должны играть члены партии, и он принял этот титул, хотя не очень хорошо понимал, зачем он ему. Пьесы казались ему полуграмотными, но он играл. В этом была увлекательность — вытягивать ничтожные характеры за счет своего таланта.

Ему дали звание народного и от имени театра поручили выступить с хвалой Сталину, вдохновителю и организатору театрального искусства. Видит Бог, ему было неловко, хотя любил он вождя не меньше других. Но отказаться было бы нелогично. На банкете его подозвали к Сталину, и рука Федора Петровича была им пожата. После этого потекли одна за другой Сталинские премии. Однажды ему сказали, что всех, кто играет с ним в спектаклях, не сажают благодаря ему. Но это не была ни заслуга, ни вина Коромыслова, — ему просто везло. Уже после смерти Сталина Мордвинов, вернувшись с Воркуты, говорил Федору Петровичу, что у них там, в лагерном театре, такие были силы, а все же отсутствие Коромыслова ощущалось.

В том потоке временных пьес "Царь Федор" почему-то оставался, а в толстовской пьесе оставался Коромыслов. "Тебя специально при рождении Федором обозвали, предвидели! — говорили приятели. — Только чего рвешь себя на части? Втянулся ведь, ну и играй спокойно. Ремесло!"

А он чувствовал, что сохраняет себя в этой роли от измелничания. "Царь Федор" был для него в потоке времени, смешанном с дерьмом, опорой, связью веж, знаком того, что еще не все затоптано вокруг и в душе его. Остальное пошло в распыл. В театр он спешил, будто опаздывал, хотя являлся задолго. Обратно шел медленно и бесцельно. Он не знал, чего нет в магазинах, как живут люди, зачем производят детей. Собственный дом был для него ночлежкой, где он имел койку. Сплетни, подсиживания, указания сверху воспринимал преходящим, суетой. Важное есть только то, что на сцене, тут жизнь. А в остальной, действительной жизни все игра.

Оставшись без "Федора", единственной своей опоры, Коромыслов, однако, не остановился, но опускался дальше в унижение и не мог остановиться, боясь потерять все. Он согласился играть утренники.

В воскресенье в зале было полно детей, которые дохрустывали вафли, принесенные из буфета, отношение к действию высказывали вслух и ходили по проходам.

— Федя, на кой тебе утренники?

— У меня, братцы, отдача полнее с утра, когда я еще не устал.

Врал Федор Петрович. Скучно ему было дома, хоть вешайся, а в театре все трудней. В новой пьесе о рабочем классе "Металлурги" Яфаров дал ему маленькую роль, полагая, что Коромыслов оскорбится. А тот взял. Конфликт вышел из другого. Старый кадровый рабочий должен был, по замыслу Яфарова, выезжать на сцену на велосипеде.

— Я-то выеду, мне что, — согласился Федор Петрович. — Но зритель только и будет думать, свалюсь я в оркестровую яму или нет.

— Не учи меня! — огрызнулся Яфаров.

— А кто же тебя научит? В театре уцелели единицы, еще помнящие, что есть искусство. И эти единицы уходят. Вы наследники, а тайны нашего дела спешите выбросить на помойку. Ну, и куда же вы будете двигаться?

— Голуба! — примирительно отреагировал Яфаров. — Театр меняется. Пойми, играет коллектив. Не я это придумал —

эпоха. Звезды только мельчат генеральный замысел. Ты, Федор Петрович, при всей нашей любви к тебе, человек предыдущего времени. Тебе этого уже не понять.

Коромыслов махнул рукой и ушел совсем. В "Металлургах" его заменили.

За последние месяцы он привык к мысли, что театру на него плевать. Халтура, забвение старых заветов проще и потому удобнее. Организация дела вполне заменила талант. Коромыслову с ними не по пути, и зря он согласился. Потрафил мелкому своему честолюбию, стал для них ширмой, прикрыл своей широкой спиной. И мысль, простая, как глоток воды, только сейчас, на сцене, вышла на поверхность сознания Федора Петровича: он один — театр! Только поэтому противился он все эти месяцы уходу — они не понимали этого — не для себя. Злобы к Яфарову, у которого трое детей, больная жена и полученная только что от министерства квартира, Федор Петрович не имел. Театр умирал — он спасал театр. Последнее усилие, чтобы спасти.

Всю весну он гулял от Мясницких ворот до Никитских и обратно, хотя это было противно и глупо.

— Как здоровье, Федя? — встречал его кто-либо из стариков.

— "Всем ведомо, что я недолговечен; недаром тут, под ложечкой, болит", — играл он Федора Иоанновича, но тут же прибавлял: — Да ничего у меня не болит. Ну их всех! "Я царь или не царь? Царь или не царь?" Общупали меня и клязузу сочинили, а я здоровше их всех вместе, как козел в марте...

Едва потеплело, как они с Нюшей уехали на дачу. Он гулял в саду вдвоем с котом, и с ним беседовал.

Кот этот потрясал своей дружбой Федора Петровича, облегал перестройку психики. Однажды вечером кот появился на террасе, мяукнув, и всем своим видом зовя куда-то хозяина. Хозяин встал, пошел. Кот бежал впереди, показывая дорогу, и привел его к двум кошкам, ожидавшим у калитки. Вот какая это была щедрая дружба: он привел двух кошек — одну себе, другую Федору Петровичу. В конце лета кота сбил

мотоциклист, и Коромыслов с Нюшей похоронили его в саду под сливой.

В сентябре он прослышал, что в музее Бахрушина есть стенд, рассказывающий о жизни Коромылова, и поехал посмотреть. Девушка-экскурсовод что-то рассказывала, а когда он назвал себя, она спросила испуганно:

— А вы разве живы?

"Да я царь этого театра! — хотел крикнуть он. — Все вымерли. Я — последний мамонт..." Но, конечно, ничего не произнес, понимая эту девушку, которую в школе научили втаптывать в грязь царей.

Она не виновата.

С мученически искаженным от боли лицом Федор Петрович вдруг отчетливо ощутил, что играет в неживом театре один. Вокруг по сцене ходят тени. Театр уже умер, и с начала спектакля Сам почувствовал это, и правильно сделал, что ушел. Яфаров искорежил пьесу новыми вводами, и пьеса умерла, как умирает изнасилованная хамами девушка. Да его за сто верст нельзя было к сцене подпускать. Он враг театра и личный враг Коромылова! Сам-то, он умный, он понял, что театр умер, и тактично ушел.

Действие между тем достигло покоев царицы в царском тереме. Впервые за пятьдесят с лишним лет Коромыслов вышел из роли, играл ее автоматически, а мыслями, и заботами, и горестью своей был вне и не мог возвратиться. Сдавливало виски, он то и дело подносил руки к шее, пытаясь оттянуть воротник и вздохнуть поглубже, но вздохнуть не мог: каждый раз слева чувствовал укол. Он плохо видел вбежавшего Шаховского и никак не мог ухватить рукой протянутую ему челюбитную.

Еще немного и кончится, кончится картина. В следующей меня нет, а после антракт. Там уже отдышусь. Но картина никак не кончалась, и он не очень был уверен, действует ли он, произносит те ли слова, что надо, или это ему только кажется. Яфаров и остальные, они победили, выбили его из колеи. Он потерял уверенность в единственной правильности интонации и жеста, которая была ему свойственна всю

жизнь, он поплыл. Они мертвецы, но ведь и меня умертвили, и я плохо играю. Зритель кашляет все время. Это не от того, что эпидемия гриппа. Это я вял, скучен, работаю без огня. Сам пришел в театр плакать, но понял, что не заплачет, и ушел. Неужели же и я умер? Это от усталости, от бесполезности борьбы я... я...

Мысль закрутилась на одной букве "я" и превратилась в серию искр, взлетевших в высоту сцены и погасших. Ногти впились в ладони. Он заметался, сидя на царском троне, сник и вдруг ясно понял, что играет собственную смерть. Такой роли ему раньше не поручали. Он играл свою смерть, и этот последний вход в материал требовал от него такой силы напряжения, какой он не обладал. И душа его рванулась, пытаясь преодолеть самое себя. Его рука напряжением всех мускулов судорожно обхватила государственную печать. Язык облизал горячие и сухие губы, и царь Федор с ненавистью бросил:

— Тебя — мою Ирину — тебя постричь!

— Ведь этого не будет! — бросилась перед ним на колени Ирина, наконец, дождавшись реплики, с которой он так долго медлил.

— Не будет! Нет! — поднялся во весь рост Федор Иоаннович, произнося фразы, которых мозг уже не понимал. — Не дам тебя в обиду! Пускай придут! Пусть с пушками придут! Пусть попытаются!..

Он сделал несколько хаотических, пьяных шагов навстречу князю Ивану Петровичу Шуйскому, взмахнул рукой, угрожая проклятьем, и захлебнулся. Боль заволокла сознание и свела тело. Князь Шуйский качнулся и стал падать на Коромыслова. Поняв, что тело не подчиняется больше ему, Федор Петрович попытался сделать шаг, чтобы уйти со сцены. Еще один шаг... Кулиса доплыла навстречу синим облаком, и он повис на этом облаке, обняв его, как последнее живое существо, которому он мог отдать неизрасходованную ласку. Затрещали гнилые нитки, не выдержав веса тяжелого тела, потому что кулису Федор Петрович обнимал уже мертвый. Костюмерша Фаня, поняв, рванулась к нему, первый раз в жизни показав-

шись зрителю, но не удержала тяжелого тела, и оно осело на пол.

Занавес быстро закрыли. Не все зрители успели заметить, что произошло, но неизвестная тревога передалась залу. И там загудели.

Главного режиссера немедленно вызвали из кабинета.

— Он позвонил? — спрашивал Яфаров, пробираясь сквозь плотное кольцо. — Узнал что-нибудь?

Никто не мог ему ответить, только пропустили вперед.

Медсестра уже сложила руки Федора Петровича на груди, медленно опустила ему веки, придерживав их пальцами, и стала разбирать шприц. Яфаров опустился рядом с ней на колени и руками тер себе виски и глаза, будто сомневался в том, что видит.

— Федор Петрович, — глухо пробормотал он, поправляя мягкое синтетического соболя на расшитом золотом царском одеянии, — прости меня, грешного... Дорогой товарищ царь, прости нас всех... Во несчастье-то какое... Вот ведь...

— Чего ж несчастье? Для нашего брата всегда почиталось за счастье умереть на сцене.

— Да ведь не в таком же спектакле! — Яфаров поднялся с колен. — А если бы...

Он не сказал, что было бы, но все поняли. Сам — он гений, понял Яфаров, о нем пишут правду. Он предвидел и поэтому уехал раньше.

— Скорую вызвали? — он взял себя в руки и, чтобы окончательно прийти в себя, принялся за распоряжения. — Семье сообщили? А зал? Залу объявили?

— Скорая будет вот-вот.

— Какая у него семья? Домработница... Чего ей сюда ехать, когда его в морг...

— Кто залу объявит? — спросил Фелькевич.

— Я, кто же еще? — с остервенением ответил Яфаров, отряхивая колени.

Фалькевич побежал к микрофону, скомандовал:

— Свет с двух сторон на занавес!

После краткого сосредоточения Яфаров отогнул занавес и

вышел под свет. В зале установилась уважительная тишина. Яфаров объявил, что ввиду внезапного заболевания актера, администрация театра просит извинения за спектакль, не доведенный до конца. Он не знал, можно ли говорить о смерти, и не сказал также, какого актера.

Поскольку билетерши уже успели по своим каналам узнать, в чем дело, и сообщили тайну своим зрителям, которых они пропустили за наличные деньги, скромную прибавку к мизерной зарплате, к моменту выхода главного режиссера перед занавесом зал правду знал. Но правда эта была неофициальной, и к сокрытию ее главным режиссером все отнеслись с пониманием.

Некоторое время Яфаров постоял с разведенными в извиняющемся жесте руками, ожидая, пока зрители начнут подниматься. Зрители, однако, ждали, пока уйдет он и в зале загорится свет. Когда это произошло, зал постепенно зашуршал, люди начали вставать, и обычная гардеробная суета взяла всех в свою власть.

Выходя из театра не доглядев пьесы, зрители в нерешительности останавливались. У театрального подъезда, запрудив улицу, образовалась толпа.

— Там есть смерть Шуйского, есть смерть Дмитрия, — рассуждал юноша в кругу симпатичных девушек. — Черт его знает, может, Федор тоже должен был умереть? Поднимите руки, кто в школе историю проходил?

Театралы, тихонечко переговариваясь, пробирались поближе к служебному входу, ждали. Молодые люди подсаживали подруг на сваленные штабелем декорации. Потом все зашевелились, задвигались, стали давить друг на друга. Из ворот выехала скорая помощь. Она притормозила, замигала фарами, тронулась, опять замигала.

— В реанимацию, — сказал голос в толпе.

— Поздно в реанимацию, умер...

— Почему — умер? — спросили одинаково с разных сторон.

— Если бы не умер, скорая сирену бы включила. А теперь ему спешить некуда.

— Не знаете, а говорите! Яфаров лично объявил, что заболел. Значит, приступ. Сейчас таких поднимают.

— Поднимают и в гроб кладут.

Это уже оказался чужой гражданин, не известно почему проникший в толпу людей, причастных к искусству. О ком идет речь, он не знал, но, дыша водочкой, свое мнение изложил:

— Ждите, подымут! У меня тетка два месяца лежала. Скажи, пускай гуляет. Она встала — и с копыт долой.

У случайного гражданина нашлись единомышленники.

— Сейчас, говорят, или инфаркт, или рак — только и выбирай.

— Врут все! Помереть от чего хошь можно: и от гриппа, и от бутылки...

— Народ мудр, все-то он знает, — пробурчал старичок в обтертом пальто.

Выбираясь из толпы и таща за руку свою полную подругу, седой интеллигентный человек без шапки говорил:

— Ах, Наташа! Смерть царей в России — самое любимое зрелище. Тут нашему народу и хлеба не надо. Посмотрели, разошлись и счастливы. Пойдем, Наташенька!..

— Разговорились! Дайте скорой-то проехать. Все-таки артист!

— А что артист? Ему что царя, что Ивана-дурака играть. Профессия.

— Так-то оно так, а все же, видно, нервная работа — играть царей, раз при исполнении сгорел.

— Не слушай их, Наташа! Пошли спать...

Скорая выбралась, наконец, на улицу и тихо, не включая сирены, покатила мимо театра. Три с половиной столетия спустя по Москве вторично везли в последний путь царя Федора Иоанновича. Однако на этот раз царь был в гриме.

Памяти

ТАМАРЫ СИЛЬМАН
всегда любимой

Ты, миленький, уснул, а я еще не сплю,
Ты где-то далеко, и ты забыл, любимый,
Как ты в меня влюблен, как я тебя люблю,
Как стали мы во всем неразлучимы.
И все же двое нас, два тела у двоих:
Ты — в царстве сна, а я вот на тебязираю,
И может быть, когда-нибудь раздастся крик
Кого-нибудь из нас: "Я умираю."

.....
Тамара Сильман, 1946

От слез у меня два солнца в глазах.
Два солнца. Не так уж и много.

.....
Тамара Сильман, 1965

Владимир АДМОНИ

РЕКВИЕМ

1

Столько было горя на пути.
Нам с тобой брести — не добрести.

Столько было пройдено дорог.
Я тебя берег — не уберег.

Столько было радостей у нас —
Как же это я тебя не спас?

2

За тенью за любимой за твоей
Я не сойду в обличье человечьем
В обитель мертвых — тщетны эти
встречи.

И Эвридики не обрел Орфей.

Нет, если б знать, что стала
тенью ты —

ПОЭЗИЯ

РЕКВИЕМ

79

Я тоже тенью стал бы меж тенями.
И вечность бы открылась перед
нами
До самой до последней до черты.

3

Нас было двое — и теперь нас
двое.
И ты жива — жива теперь во мне.
И голос твой звучит в моем
негромком слове —
Он слышится внутри, а не вовне.
Так нам дано отныне вместе
длиться
В нежданных, долгих, одиноких днях.
И вместе плакать на могильных
плитах,
Где твой зарыт испепеленный прах.

II

1

Сожгли прошлогоднюю осень.
От листьев осталась зола.
Но май лицемерный уносит
Последние капли тепла.

И ветер, как сильная птица,
Порывистый и дождевой.
Нежданно в окно постучится
Вернувшейся к людям душой.

2

Вновь город мне дан как образчик
Все той же весенней тоски —
И чайка, как солнечный зайчик,
Блеснула над рябью реки.

И мраморы статуй тускнеют,
 Как старости стойкая грусть.
 И в солнечных пятнах аллея,
 Где я никого не дождусь.

3

Когда-то я их знал наперечет —
 Одних по имени, других же лишь по виду,
 Но я запомнил только Немезиду —
 Она стояла слева у ворот.

Какой она казалась незлобивой!
 И юным был ее бесцельный взор.
 Открылась грудь в порыве торопливом —
 И лишь у ног лег небольшой топор.

Там, кажется, сирень теперь цветет,
 Обвив бывшие беды и обиды
 Лиловой вязью — слева у ворот,
 Где всех нас ждет доньине Немезида.

4

Сирень — без тебя. И медлит,
 Не кончается нынче она.
 Где пеной, где синей медью
 Польшаает эта весна.

То фиалок ночных нежнее,
 То туч розовых темней,
 Набухает сирень. И над нею
 Все еще поет соловей —

Тот кладбищенский, тот непомерный,
 Что, поверив людской тишине,
 Прославляет утраты и жертвы
 На замедленной этой земле.

III

1

Снова строки, и строфы, и рифмы.
 И связать их я вновь не могу.
 Лишь дивлюсь на недолгие ливни
 На латышском большом берегу.

Потому что уже он искрится
 Влажным солнцем и влажным песком.
 И уже успокоились птицы
 С черным клювом и черным хвостом.

Их качают нечастые волны,
 И им, верно, совсем ни к чему,
 Что направо, над Ригою, словно
 Небо рушится в черном дыму.

2

И на берегу этом морском
 Нам всегда далеко до заката —
 Потому что планета поката
 И вращаться умеет тайком.

Да и птицы туда не летят,
 Где лиловым становится пламя,
 Где, в воде растворяясь, закат,
 Как навеки, прощается с нами.

IV

1

Какими темными бывают ели,
 Огромные и старые, в ненастье,
 Исполненные странного покоя,
 Над черным мхом — но с непонятной

силой

Вдруг в памяти возникнул день другой:



Юрий ИОФЕ

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА

Призрак солнца освещает скупо
Облака и монастырский купол.

Полдень тих. И бесконечно грустно
Проходить некрополем искусства.

Ты внимай, забыв о скверной злобе.
Каменной симфонии надгробий.

Только той симфонии не слышно.
Ничего с бессмертием не вышло.

Ленинград, лето 52

Стихи из сборников "Итак, итог" и "Вне России"

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

87

Белый свет засыпан белым снегом.
От Луны тоскливо и светло.
И каким-то безымянным веком
Белое беспамятство легло.

В зимних переулках очень тихо.
Белый снег синее при Луне.
Будто все скончались после тифа
Или все убиты на войне.

Свет Луны, безжизненный и постный,
Заливает безысходный снег.
Очень холодно и очень поздно:
3-ий час утра, 20-ый век.

В глухоту, к варягам, к печенегам,
По снегам уходит древний след.
Белый свет засыпан белым снегом.
Белый снег засыпал белый свет.

Москва, зима 56

ВСТРЕЧА В СУХУМИ

Старику порядком за сто.
Но в глазах играет прыть.
И еще не сделан заступ,
Чтоб ему могилу рыть.

Бородою Черномора
Не кичится предо мной
Этот житель Черноморья,
Человек земли иной.

Мы сошлись в одном духане
За полдюжиной вина.

Было море, как дыханье.
Колыхалась глубина.

Гомонил курортный город,
Золотился знойный свет.
Ну, а мне еще не 40,
То ли будет, то ли нет.

Кабы выплыл вновь в верховья
Мутной речки бытия, —
Не писал бы век стихов я,
Не трепал бы душу я.

Я бы создал прочный базис:
Горы, звезды, сыр и хлеб.
Я бы жил, как тот абхазец:
Чисто, честно, сотню лет.

Сухуми, лето 57

НА МТАЦМИНДЕ

Григорию Гальперину, субтропическому сачку

В поднебесье, к самой выси
Нас вознес фуникулер.
Снизу, в рваной рамке гор,
Простирается Тбилиси.

Мы глядим на мир кругом
Капитанами из рубки.
Нам закат наполнил рюмки
Тёмнокрасным коньяком.

Странен гомон древней песни.
А в душе моей в ответ

Ни тоски, ни боли нет —
Пустота, как в поднебесьи.

Ты готов и я готов.
Никнут головы, как слитки.
И улыбки, как улитки,
Выползают изо ртов.

Тбилиси, лето 60

* * *

Тайнинка. Тайна детства.
Не думал, не гадал,
Как тяжело взглядеться
В прошедшие года.

Потом пришли идеи.
Потом пошло на спад.
А нынче в самом деле
Подходит 50.

Со всею прямою
Признаюсь, что не знал,
Не знал, что крематорий
Походит на вокзал, —

Где каждую минуту
Отжившее старье
Уходит по маршруту
"Москва-Небытие".

Зачем же было детство?
Ведь сколько ни крути, —
А никуда не деться
С проклятого пути.

Щелково /Подмосковье/, весна 66

ГОРОДОК - С -НОГОТОК

Над готическим городком
Колокольная стынет трель.
Атлантическим ветерком
Продувает насквозь апрель.
Вдалеке от больших проблем,
По-воскресному сонно нем,
Вдалеке от больших дорог
Видит сны городок-с-ноготок.

Тишина кругом, тишина.
В тишину ушел человек.
Непонятно: что за страна?
Непонятно: который век?
Чет да нечет, нечет да чет —
Точно время, речка течет,
Оживляя привычный край,
Отражая кирпичный рай.

Будто нет ни борьбы, ни судьбы,
Будто мир застоялся тут.
Обыватели — как дубы,
Что на набережной растут.
Вас обманывает апрель!
Вы не верьте ему теперь!
Годик-два — разворотят сны
Бомбовозы моей страны!

Вайльмюнстер, 4.4. 76

* * *

Я плутаю, я слоняюсь тут и там,
По немецким, шведским, датским городам,
По бульварам, по аллеям я брожу,

По проулкам-переулкам прохожу.
Всюду камень, черепица да кирпич.
Не проникнуть. Не пробиться. Не постичь.
Неразборчивые чьи-то голоса
И тяжелые чужие небеса.
И другое представляется кругом:
Будто детство где-то рядом, за углом,
Будто прошлое совсем невдалеке,
Будто выйду я сейчас к Москве-реке...
Я со временем, с пространством не в ладах:
Ведь в немецких, шведских, датских городах
Заблудился, затерялся навсегда,
Ведь не выберусь, не выйду никуда...

Франкфурт-на-Майне, 11.11.76

НЕ ХОДИТЕ ПО БЕРГЕРШТРАССЕ

Вот идешь сквозь одно и то же,
По какой-нибудь Бергерштрассе,
Сизый дождик сечет прохожих,
Шелестит в человеческой массе,
Вот иду себе, мокну, зябну,
День обыденный, как картофель,—
И внезапно — как взрыв! — внезапно
Чей-то странный прекрасный профиль.
Не ее ли ищу — такую?
Не за ней ли везде шагаю?
Не по ней ли все дни тоскую
И в лиловых снах настагаю?...
Не она ли была со мною,
И не я ли тогда смеялся,
Называя ее женою —
В прежней жизни, в чертогах Марса?
Небосклон отзывался медью,
Было счастье под синим Солнцем.

Разве знал, что за желтой смертью
Повстречаюсь ей незнакомцем?

"— Успокойтесь. Симптом не страшен.
Не ходите по Бергерштрассе,
А сидите покуда дома", —
Посоветует доктор Томан.

Франкфурт-на-Майне, 1.7.79.

Рина ЛЕВИНЗОН

СОЧЕТАНЬЕ ГЛАГОЛА С БЕДОЙ

Мне с бедой вековать,
С веком мне бедовать,
Но зато на закате, быть может,
Тот, кто раны мои помогал врачевать,
Тот и песню сложить мне поможет.

* * *

Пишут сердцем, не умом,
Знание страсти не прибавит,
Разбивают стенку лбом,
Не считают, не лукавят.

Потому что позолота
Душу сушит, сердце злит,
И живут, как Бог велит —
Без великого расчета.

* * *

Набегали волненья и страсти.
Слово за словом. И чередой,
Причитанья, причастья, несчастья,
Сочетанье глагола с бедой.

Разделенье слезы на частицы,
Превращенье тревоги в предлог...
Не за это ли все мне простится,
Не за это ли миловал Бог?

* * *

Солнце садится, темнеет восток,
Прежде счастливый и ясный.
Вот и остался последний глоток,
Может быть, самый прекрасный.

Как мне жилось тут? Ах, миловал Бог,
Тешил меня ежечасно.
Вот и остался последний глоток,
Может быть, самый прекрасный.

Сколько искала, а все невдомек.
Свечка зажглась и погасла.
Вот и остался последний глоток,
Может быть, самый прекрасный.

* * *

Дождик стучит по оставленным крышам...
Мы уезжаем и писем не пишем.
Странная эта затея, ей-Богу,
Вдруг ни с того, ни с сего, да в дорогу,

Так, без одежды, без ложки, без плошки...
Снег замечает пустые окошки,

Ветер пирует в подвалах пустых,
В темном углу — ненаписанный стих.

* * *

Стихи оттуда, Боже мой...
Опасностью пренебрегая,
Летит сюда душа живая
Ко мне, свободной и немой.

И чем-то связаны слова,
Какой-то странной связью древней
С судьбой, избой, землей, древней,
Как с небом связана трава.

Сумерки, дневная тень,
Полувечер, полудень,
Полутемень, полусвет
Не закат и не рассвет.

Сумерки, дневная синь
И вечерняя светлынь.
Превращается предмет
В тень, рисунок, силуэт.

Сумеречная страна,
Не зажжется в ней луна,
Нет ни солнца и ни звезд,
Лишь вдали темнеет мост.

Гаснет свет, уходит в тень,
Ярче за окном сирень.
Этот сумеречный час
Самый лучший для прикрас.



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

БОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ИЗРАИЛЯ

ПОБЕЖДЕННЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Когда два года назад произошел политический переворот и бразды правления в стране перешли в руки правого блока "Ликуд", многие ожидали, что в хозяйстве страны будет введен порядок. Будут введены чисто экономические принципы и критерии, которые оздоровят экономику и поставят ее на рациональные основы. В течение этих двух лет иллюзии рассеялись. Вместо надежд пришло горькое разочарование. Победители оказались побежденными. Как и почему это произошло?

Думается, что первопричину надо искать в самом экономическом курсе правительства — "переворота". Как известно, первым, притом демонстративным шагом, предпринятым новым правительством, было приглашение Мильтона Фридмана, американского лауреата Нобелевской премии, в качестве советника министерства финансов.

4 ноября, через неделю после переворота, глава правитель-

ства провозгласил: "Мы освободились в конце концов от большевистского контроля". И надо признать, что приглашение Мильтона Фридмана, этого принципиального сторонника "свободного хозяйства", как нельзя лучше соответствовало этому декларативному заявлению.

В 95 номере "Экономического ежеквартальника" была опубликована речь Фридмана в Тель-Авивском университете. Он сказал: "Свободный рынок знает лучше, что к чему, нежели правительственные чиновники, занимающиеся хозяйством. С отменой контроля разрешение вопроса придет само по себе, как на серебряном подносе. Нет смысла, — продолжал Фридман, — тратить деньги на стимулирование экспорта. Нет у нас проблемы платежного баланса, коль скоро текут к нам деньги Магбита* и Шилумима**. Это — лучшие статьи экспорта. Мировое еврейство должно охотно развивать их взамен предоставляемого ему чувства еврейской Родины. Нет ничего предосудительного также и в получении денег от Соединенных Штатов Америки, взамен опасности которой подвергаются наши солдаты".

Как видите, перед нами нечто большее, чем экономическая концепция, тут целая философия национального существования Израиля: зачем народу Израиля трудиться, когда есть деньги мирового еврейства и американская помощь? Следует, впрочем, указать, что профессор Мильтон Фридман не оставался глухим к процессам, происходящим в израильской экономике, и в прошлом году писал в лондонском "Таймс", что нет возможности сочетать его предложения о свободном рынке с политической и военной действительностью Израиля.

Так или иначе, иждивенческая философия Израиля вряд ли может быть чем-то оправдана. Израиль имеет, разумеется, законное право на помощь еврейского народа и даже других народов мира как государство, имеющее уникальную, драматическую историю. Государство, которое воссоздает на

*Еврейские денежные сборы для помощи Израилю.

** Денежные компенсации правительства Западной Германии жертвам гитлеризма.

руинах народ, гонимый тысячелетиями. Но нет ничего общего между стремлением к такой помощи и паразитической жизнью страны.

ПРОИЗВОДИТЬ ИЛИ ПОГИБНУТЬ

У евреев в галуте была, безусловно, специфическая экономика. В условиях галута они как бы заполняли те поры хозяйственного организма различных стран, где по тем или иным причинам создавался "вакуум", но в самостоятельном государстве это невозможно, если оно хочет сохранить свою независимость. Не надо быть марксистом, чтобы знать, что политика, если и не представляет собой "сконцентрированную экономику", то, во всяком случае, зависит от экономики, и длительный разрыв здесь невозможен. Политическая независимость может быть обеспечена только лишь экономической независимостью. Каждый понимает: невозможно протягивать руку к Америке и в то же время, гордо подняв голову, проводить свою политическую линию.

Этот же вопрос имеет и другой, не менее важный аспект. Моральное здоровье народа зависит от того, живет ли он на свои средства. Народ, который не способен сам себя содержать, теряет в конце концов и внутреннюю уверенность, а, следовательно, и способность национального существования. Такова логика жизни народа-иждивенца. Надо прямо сказать: паразитические и спекулятивные тенденции в экономике Израиля приняли размеры национального бедствия.

Первым индикатором этого является непрекращающийся приток рабочей силы в сферу обслуживания. "90 процентов добавочной рабочей силы, — говорит один из руководителей министерства торговли и промышленности И. Зив, — в прошлом году были включены в сферу обслуживания".

Социальная структура израильского общества извращена в своей основе. Только одна треть его населения занята в производстве. Такой пропорции не знают даже высокоразвитые страны.

Другой индикатор это — растущая экономическая зависи-

мость от помощи извне. Во время создания государства помощь извне составляла примерно 33 процента. Эта цифра уменьшилась в шестидесятых годах до 15 процентов, но в семидесятых годах она снова поднялась и достигает теперь 20—25 процентов. Это означает, что Израиль производит в год лишь 75—80 процентов товаров, необходимых для его существования. Остальное покрывается с помощью мирового еврейства. В 1978 году эта помощь составляла 440 миллионов долларов, денежные компенсации из Западной Германии — 400 миллионов долларов и частные переводы — 430 миллионов долларов. Возросшая в последние годы помощь Америки достигает теперь двух миллиардов долларов в год.

Израиль получает также краткосрочные и долгосрочные займы, но это имеет и свою оборотную сторону: по этим займам надо платить. Внешний долг государства беспрерывно растет и достигает уже 12 миллиардов долларов. По другим данным, внешний долг достигает 15 миллиардов. Так, Я. Арнон в статье "Израильское хозяйство с 1953 по 1978 годы и предвиденье на 1979 год"* пишет: "Если мы включим все займы, полученные израильским хозяйством, то увидим, что внешний долг, который составлял в 1953 году 400 миллионов долларов, достиг в конце 1978 года суммы, близкой к 15 миллиардам долларов".

Есть пророки в стране пророков. Так, например, Председатель Союза промышленников Бума Шавит предсказывает, что в 1982 году дефицит в расчетном балансе страны достигнет 6—7 миллиардов долларов, а внешний долг — 30 миллиардов.

Если это пророчество сбудется, государство окажется на грани банкротства. Однако и теперь бремя долгов государства весьма велико.

Грубо говоря, государственный бюджет делится на три части: треть идет на военные нужды, треть на гражданские и треть на возврат долгов. Утверждают, что уже в будущем году платежи по долгам достигнут 40 процентов бюджета. Пока что почти вся американская помощь — около двух миллиардов долларов — идет на уплату долгов. Надо принять

*"Экономический кварталник", май, 1979.

во внимание и внутренний долг государства, который составляет сумму, приближающуюся к 300 миллиардам лир.

ИНФЛЯЦИЯ

Прежде чем перейти к вопросу об инфляции, следует указать и еще на один важный индикатор экономического положения страны — на платежный баланс.

За 1975-77 годы удалось уменьшить дефицит внешней торговли. В 1975 году он составлял примерно 4 миллиарда долларов, а в 1977 году был снижен до 2,5 миллиардов.

В 1978 году, то есть через год после экономического поворота, положение значительно ухудшилось: дефицит внешней торговли увеличился на 800 миллионов долларов и продолжает расти.

Но и это еще не все индикаторы состояния экономики. Израильское хозяйство страдает также от низкой производительности труда и малой эффективности капиталовложений. Недавно в газете "Аль-Гамишмар" был опубликован весьма любопытный рассказ специалиста по счетным машинам из Иерусалима: "Там, где я служу, половина работающих — лишние, — пишет автор. — Я сам способен удвоить свою производительность, не удлиняя рабочий день даже на четверть часа". Далее он пишет, что его товарищ по работе едва ли не весь день занят делами на бирже: вместо того, чтобы работать, непрерывно выясняет по телефону — упал или поднялся курс акций. Это — только мимолетная картинка, но она неплохо отражает общее положение — как работают на израильских предприятиях.

Производительность труда в Израиле достигает лишь 60 процентов производительности развитых стран. Национальный доход на душу населения (3.250 долларов) — самый низкий в Европе, не говоря уже об Америке. Разумеется, производительность труда тесно связана с заработной платой. И вот, оказывается, что и оплата труда в Израиле далеко не достигает европейского уровня. Среди экономистов идет спор, под-

нялась ли в 1978 году зарплата на 2 процента или не поднялась вовсе. Но если абсолютная зарплата реально не повышается или повышается медленно, то относительная даже падает.

Статистические данные говорят о том, что частное потребление на душу населения повысилось на 6 процентов (и, может быть, даже больше), но, если принять во внимание уровень зарплаты, то картина получится довольно любопытная. Зарплата всех наемных рабочих и служащих составила в 1978 году 115,8 миллиардов лир. Если с этого снять подоходный налог и национальное страхование, то остаток составит 60 миллиардов лир.

В то же время личное потребление составило 147 миллиардов лир, отсюда следует, что около 90 миллиардов лир, полученных населением, к зарплате не имели никакого отношения.

Какая же связь между всем этим и инфляцией?

Совершенно прямая: хозяйство "недопроизводит" необходимое количество товаров, и государство пытается восполнить этот недостаток выпуском бумажных денег. Инфляция разрушает доверие к деньгам, которые оказываются реально не обеспеченными. Создаются условия для легкого и спекулятивного обогащения.

В условиях Израиля инфляция означает также углубление еще одного парадокса, кроющегося в так называемом прикреплении к индексу цен — правительство выпускает займы, по которым стоимость облигаций растет соответственно обесцениванию денег. Таким образом, создается инфляция *de lux*, когда сбережения не падают в своей ценности, и налицо широчайшее поле для спекулятивных биржевых заработков. Израильские биржи вообще ставят под сомнение целесообразность инвестиции капитала в производство. Если можно легко заработать на бирже, зачем вкладывать капитал в промышленность? Но и это еще не все: правительство платит по займам на основе растущего индекса цен, но оно само до сих пор давало займы большие деньги, без учета

этого индекса. Это — так называемые субсидии капиталу, их цель — поощрение развития промышленности.

В 1976 году сумма таких субсидий составляла 8,5 миллиардов лир, в 1977 году — 13,5, а в 1978 году уже 25 миллиардов. В то же время субсидии на продукты потребления все время уменьшаются.

Помощь капиталу служила источником легкого обогащения. Как выразился сам министр финансов, субсидии шли для строительства вилл, а вовсе не новых предприятий.

Отмена контроля над валютой, предпринятая правительством, послужила новым толчком к форсированию инфляции.

Приток в страну миллиарда долларов, которые были обменены на лиры, создал на рынке большой спрос на товары, а если к этому прибавить еще и растущий спрос в результате роста личного потребления, а также заполнение рынка правительственными займами (которые также увеличивают денежное обращение), то станет понятным, почему инфляция приняла галопирующий характер.

Во второй половине 1977 года, после "переворота", наметился рост инфляции, в 1978 году она составила 50 процентов, в 1979 году, по-видимому, достигнет 80—100 процентов. А что нас ждет в 1980 году?

СВЕТ И ТЕНИ

Впрочем, будем объективными. Сам факт создания функционирующего хозяйства за 30 лет существования государства говорит за себя. Нельзя сбросить со счетов и демографическую революцию, которая увеличила население Израиля в пять раз. Но и в этих, не знакомых ни одной стране условиях, было создано высокоразвитое современное израильское хозяйство. Получила развитие современная электроника, металлургия и химическое производство. Высокоразвитые израильские кибуцы могут служить образцом для сельского хозяйства многих стран.

Но Израиль — страна динамическая, для нее стагнация и, тем более, отступление, чреваты угрозой экономической

катастрофы. Между тем, израильтяне продолжают жить в мире иллюзий, ставя превыше всего личное обогащение, не ощущая пропасти, перед которой оказалось общество.

Покойный министр финансов Иегошуа Рабинович указывал на то, что "посредством изменений в законах и различных уступок были переключены в этом году примерно 5,5 миллиардов лир в пользу зажиточных слоев". И среди такого рода мер — "упразднение налога на поездку за границу (750 миллионов лир), снижение налога на сырьевые запасы (1,5 миллиарда лир), уменьшение налогов на семейные общества (150 миллионов лир), изменения в налоге на работодателей (600 миллионов лир), упразднение налога на имущество (миллиард лир). И так, перед нами облик общества ложного благоденствия. Вот как о нем пишет Ш. Шницер в газете "Маарив": "Количество частных машин на шоссе дорог страны приближается к половине миллиона. Количество израильтян, намеренных выехать в этом году за границу, равно 400 тысячам человек. Правительственные строительные компании предлагают коттеджи ценой в 6,5 миллионов лир каждый. Приемники и цветные телевизоры распроданы в ряде магазинов. Похоже, что никогда в истории этого государства не было такой свистопляски потребления излишеств, колющей глаза". И далее автор пишет: "С другой стороны, есть люди, по которым инфляция ударяет с огромной силой, их лишения кажутся тем более унижительными на фоне новых привычек процветающей буржуазии. ...Общество, в котором одни никак не могут решить — ехать ли на Дальний Восток или Южную Америку, а другие стоят перед выбором — купить пару обуви ребенку или мясо на субботу, потому что зарплаты не может хватить на то и другое, — находится в большой беде, и никакими высокими фразами не спасти его".

Такова экономическая и социальная действительность Израиля в 1978-1979 годах.

В прошлом году частное потребление возросло. И еще больше — общественное. Импорт увеличился на 10 процентов, а экспорт — только на 3. То же, как мы видели, произошло и с платежным балансом. Кто несет ответственность за это дви-

жение в пропасть? Нам кажется, что экономическая политика правительства "переворота" попала в западню, им же самим расставленную. Без материального стимулирования экспорт можно обеспечить только путем соответствующих изменений в курсе валюты. Но неизбежным следствием этого станет развитие импорта и рост цен на товары, что, в свою очередь, вызывает увеличение издержек производства для экспорта. Как вырваться из этой трясины?

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА

Создается впечатление, что правительство "переворота" окончательно потеряло направление. То оно держит курс на систематическое вздорожание товаров, то заявляет о прекращении роста цен, то увеличивает субсидии капиталу, то совершенно прекращает эти субсидии, то есть мечется из одной крайности в другую, без руля и без ветрил.

Часто мы слышим голоса, призывающие вернуться к "добрым, старым временам" спартанского халуцианства. Но не утопия ли это чистой воды, не имеющая никакой реальной почвы под собой?

Писатель Аарон Мегед воспроизводит в своем очерке "Встреча в пути" беседу с семьей поселенца, ведущего свое хозяйство на земле. Это семья бывших коммунистов из Венгрии, прибывшая в Израиль в пятидесятых годах после восстания в Будапеште. Жена развивает свою точку зрения — "Болезнь, которую сионизм хотел вылечить, не излечена, она только загнана внутрь и при всяком удобном случае прорывается наружу. Поскребите израильского сабру, обнаружите в нем еврейского торговца. Он не очень-то отличается от своих предков, в сущности, он подобен им: та же инициатива, та же хитрость, та же энергия и та же цель — легкая нажива". Она рассказывает о молодых кибуцниках из Негева — это второе поколение, которое после службы в армии оставляет кибуцы. И куда же они направляются? Наиболее способные пускаются в административную деятельность, становятся начальниками, открывают конторы, быстро вживаются в

посреднический бизнес. ...Инициативы хоть отбавляй! О чем же это свидетельствует? Корни наши слабы, не глубоки. И это плохо.

Но как же лечить страну? — спрашивает автор. — "Работать надо, — отвечает муж, — зачем мы приехали сюда? Обрабатывать землю. Очень просто — личный труд... Только то, что необходимо для жизни и только то, что достигается личным трудом".

Нельзя отрицать привлекательность этих суждений, но, увы, колесо истории не повернуть назад. Борьба идет теперь за общественно-экономический облик Израиля как государства плюралистического, в котором уживаются различные формы хозяйства — государственная, общественная и частная. Нет фатальной необходимости в том, чтобы еврейское служение золотому тельцу в пустыне после исхода из Египта стало путеводной звездой Израиля нашего времени. Надо суметь направить государство на путь здоровых заработков и закрыть путь для спекулятивного капитала и легкой наживы.

Сочетание ума, энергии и труда еврейского народа может вывести страну из тупика.

Торгашество, местечковый дух — несчастье, принесенное евреями из галута, мучает страну и сегодня. Надо повернуть государство лицом к науке, к технологии, к человеку труда. Это и будет означать революцию, в которой так нуждается общество, революцию в экономике и морали Израиля.

Приближается вторая годовщина со дня трагической смерти Александра Галича — одного из самых замечательных поэтов нашего времени. Александр Галич неоднократно выступал на страницах нашего журнала, где была напечатана его последняя прижизненная повесть "Блошиный рынок". В этом номере мы публикуем статью одного из близких друзей поэта, профессора Александра Штромаса "Мир Александра Галича".

Александр ШТРОМАС

МИР АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

Александр Галич пришел в русскую поэзию уже зрелым, сложившимся художником. Произошло это в 1963 году, когда ему исполнилось 45 лет. Правда, свой путь многообещающего поэта он начал еще пятнадцатилетним мальчиком, когда занимался в литературном кружке, руководимом Эдуардом Багрицким. Жизнь, однако, повела Галича другими путями: сначала он был актером, потом успешно, по советским масштабам, дебютировал в драматургии, а после пришел и в кинематографию.

Имя Галича со временем стало одним из тех расхожих, проходных имен, которые в послевоенное время в изобилии мелькали на театральных и кино-афишах столицы и провинций.

Долгие годы это имя ассоциировалось с образом средне преуспевающего члена Союза писателей и Союза кинематографистов, каких много, и, чтобы выделить его из общего их потока, необходимо было обратиться за справкой в краткую

Литературную энциклопедию, Театральную энциклопедию или Кинословарь.

О причинах, повернувших Галича к поэзии, он великолепно рассказал сам в своей "Генеральной репетиции". Имя Галича-поэта за короткое время превратилось в России в легенду, хотя, в отличие от Галича-драматурга и журналиста, поэт-Галич ни в каких официальных советских справочниках, конечно же, не значится.

Начало его пути в русскую поэзию обычно связывается со стихотворением "Старательский вальсок". На протяжении нескольких лет Галич неизменно начинал каждый свой концерт именно с этой песни. Похоже, что в "Старательском вальске" Галич впервые так определенно формулирует идейную задачу, ради которой он вообще встал на рискованный путь исполнения под гитару своих стихов. Задолго до Солженицына он обращается тут с призывом к своим слушателям "жить не по лжи". Галич призывает каждого из нас выпрямиться, обрести свой голос, стать внутренне свободной личностью. Нет, он не клеймит нас громогласно позором за приспособленчество, за то наше молчание, из-за которого в стране было безнаказанно пролито так много крови. Он просто показывает, как организованный сталинским режимом "естественный отбор" оставил в живых лишь тех, кто был согласен молчать. "Где теперь крикуны и печальники?" — спрашивает он — и отвечает: "Отшумели и сгнули смолоду". А вот молчальники, они-то и "вышли в начальники, потому что молчание — золото". Но слишком многие и слишком легко соглашались молчать и тем самым создали режиму возможность организовать такой отбор. И поэтому Галич вовсе не намерен их, молчальников, оправдывать и потакать их духовному бессилию, нет, он просто и спокойно объясняет позорную суть такого поведения, а в конце с убийственной строгостью выносит приговор:

**Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от горя, от голода!
Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому что молчание — золото!**

**Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть в палачи —
Промолчи, промолчи, промолчи!**

Этот приговор требует от людей уже большего, чем просто "жить не по лжи". Он требует готовности к жертве ради жизни "по правде". При этом Галич не выступает как далекий от реальности нравственный максималист. Уж что-что, а чувство реальности присуще ему, как никому другому. Просто такова его жизненная позиция. Сохранение жизни любой ценой — ценой предательства, измены или даже во имя плоского благоразумия — для него на самом-то деле и есть худшая форма самоубийства. Купленная такой ценой, жизнь становится настолько бессмысленной, что неизвестно, зачем вообще нужно было ее сохранять. "Зачем же потом случилось?" — вопрошает герой "Петербургского романа", князь Трубецкой, как известно, не вышедший четырнадцатого декабря 1825 года на Сенатскую площадь и этим спасший свою жизнь, —

**Зачем же потом случилось,
Что меркнет копейкой ржавой
Всей славы моей лучинность
Пред солнечной ихней славой?**

**Болят к непогоде раны,
Уныло проходят годы.
Но я же кричал — тираны!
И славил зарю свободы...**

Примечательно, что под "Петербургским романом" обозначено "22 августа 1968 года" — день, когда мир узнал, что советские танки вошли в Чехословакию.

Галич неустанно осуждает тех, кто приспособился "к общей подлости". Вот его стихи, его горестные мысли, например, по поводу смерти Пастернака:

**Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели,**

срывающиеся под конец в гневное восклицание:

**До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели!**

/"Памяти Пастернака"/

Галич осуждает не только других, — в первую очередь себя самого. "Мы" — это и мы, и он сам тоже; он тоже "сволочь", так как тоже гордился, что Пастернак умер в своей постели.

С Галичем так всегда. Борясь с общими слабостями нашими человеческими, он в первую очередь борется с ними в себе самом. Он вовсе не равнодушно внимает речам искусителя-черта /под ликом которого явно выглядывает Союз писателей/, искуситель-черт домогается запродажи его души ценой простой подписи под отречением, сулящей безбедную жизнь до конца дней. Смакуя, повторяет Галич чертовы слова:

**Но зато ты узнаешь, как сладок грех
Этой горькой порой седин
И что счастье не в том, что один за всех,
А в том, что все, как один.**

И чернильницу черт к нему уже подвигает — чернильницу и не более — и не требует расписаться кровью, но через символическую эту деталь не трудно догадаться, что в поединке этом, хоть и не без труда, побеждает человек, лирический герой, или, если угодно, автор.

То же отношение к жизни, когда человек — пусть совсем простой, маленький человек — остается верен самому себе, мы встречаем и у многих героев Галича. Вспомним "Тонечку", преданную любимым ради карьеры и денег:

**Там работает она билетершею,
На дверях стоит вся замерзшая,
Вся замерзшая, вся продрогшая,
Но любовь свою превозмогшая,
Вся иззябшая, вся простывшая,
Но не предавшая и не простившая!**

Но что значит "не предать и не простить" для самого Галича? Что значит "не предать", пожалуй, более или менее ясно. Но "не простить"... не к мести ли обидчикам зовет он нас этими словами? Нет же, конечно. Его Тонечка тоже ведь никому не мстит. Она просто не идет на компромиссы с совестью, а значит, не забывает и не прощает аморальности, глумления, подлости. "Простить" в данном случае означало бы "принять", но именно это Галич и считает недопустимым нравственно.

Галич — поэт. Он верит в силу свободного слова.

**Я выбираю свободу,
Но не из боя, а в бой.
Я выбираю свободу
Быть просто самим собой.**

Эти последние слова обладают ключевым значением для продвижения идеи Галича на следующую ступень, на ступень философского раздумья о том, что французы называют "la condition humaine".

Если суть свободы состоит в свободе быть просто самим собой, то значит, так она должна пониматься в отношении всех людей — всех без исключения. Значит, у каждого человека есть это неотъемлемое право отстаивать себя, свои убеждения, взгляды, жизненные принципы, как бы они друг от друга ни отличались. А уж отсюда прямо следует, что никто из людей, как и ни одно человеческое учреждение — будь то партия, государство или церковь, — не может быть носителем ни абсолютной идеи, ни абсолютной истины. Плюрализм и терпимость — краеугольные камни, на которых должны основываться отношения людей. И Галич отстаивает эти принципы до конца, вплоть до готовности отрицать общезначимость своей собственной правды. Ведь и она является только его правдой, а ни в коем случае не истиной для всех. Каждый волен жить, думать, шагать по-своему. Таков, по Галичу, естественный "Закон природы". Может быть, не всем знакомы эти шуточные строки:

**Целый взвод слизнули воды,
Как корова языком,
Потому что у природы
Есть такой закон природы —
Колебательный закон...**

**Повторяйте ж на дорогу
Не для кружева словца,
А поверьте, ей-же Богу,
Если все шагают в ногу,
Мост обру-ши-ва-ет-ся!**

Из Венесуэлы к нам везли на корабле два контейнера с новыми рифмами, а "биндюжники есть биндюжники — полбочонка с рифмами свистнули". И вот результат этого происшествия:

**Хоть вою землю шагами выстели
Хоть расспрашивай всех и каждого —
С чем рифмуется слово "истина",
Не узнать ни поэтам, ни гражданам!**

/ "Виновники найдены" /

Но вот уже в "Поэме о бегунах на длинные дистанции" шуточные интонации исчезают. Идея как бы формулируется во весь рост, со всей горечью обобщенного исторического опыта. В этой поэме Галич призывает людей преодолеть страх, но он и предупреждает их:

**Не бойтесь тюрьмы,
Не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: я знаю, как надо...**

и заключает:

**Гоните его,
Не верьте ему,
Он врет, он не знает, как надо!**

Тут как бы сплетены воедино два уровня идеи: Галич говорит о том, что человек должен быть свободен, в первую оче-

редь свободен от страха, страх недостоин человека, — это все время повторяющееся: "не надо, люди, бояться", — и о том также, что нетерпимости, претензии на абсолютную истину следует опасаться пуще всего, именно они лишают людей свободы и подчиняют их страху.

**Слезы крови не солонее,
Даровой товар, даровой.
Прет история — Саломея
С иоанновой головой.**

При этом уже совсем неважно, считает ли Саломея правой себя и неправой Иоанна-Крестителя, или же наоборот. Галич в принципе отрицает за собой роль борца за общее правое дело — дело утверждения общей для всех истины. Он просто решает оставаться самим собой, то есть верным не общей истине, а своей личной правоте. В одном стихотворении он пишет о будущем, когда "дошлый историк возьмет и напишет про нас". Имя поэта в книге историка будет лишь однажды упомянуто — и то лишь в одной из сносок.

**Так, значит, за эту вот строчку,
За жалкую каплю чернил,
Воздвиг я себе одиночку
И крест свой на плечи взвалил.**

**Так, значит, за строчку, вот эту,
Что бросит мне время на чай,
Веселому, щедрому свету
Сказал я однажды: "Прощай!"**

Так, может, действительно овчинка не стоила выделки? История и так завершит свой предначертанный на небесах круговорот. Но нет, не в Истории, не в общественном значении содеянного смысл его поступка, а только в нем самом, в его правоте, в том, с чем он как личность придет к Судному дню:

**Но будут мои подголоски
Звенеть и до Судного дня,**

**И даже неважно, что в сноске
Историк не вспомнит меня.**

Экзистенциальный смысл Галич видит в праведности жизни отдельного человека, в том, что следует он своей, а не назначенной кем-то правоте. С его точки зрения, абстрактно-общая истина, или так называемая "объективная польза дела" теряют вообще какой бы то ни было смысл. Теряют, потому что человеку недоступно их полностью своим разумом охватить и непревратно понять. Не оставляя камня на камне от марксистской и любой иной вульгарной социологичности, Галич уверен лишь в одном: если нет терпимости, как условия человеческого существования, то нет и возможности осуществить, живя по правоте, свободу своей воли. Из суммы свободных волей всех людей в отдельности, а не из заранее предначертанной учеными закономерности складывается, в конечном итоге, реальная человеческая история. Впрочем, и Галич бывает нетерпим, главным образом, к самому явлению нетерпимости, видя в нем корень всех пороков вообще.

В стихотворении "Памяти доктора Живаго" Галич воспроизводит обстановку декабрьского восстания 1917 года в Москве, в результате которого власть во второй столице окончательно перешла в руки большевиков. В эпитафии поэт вспоминает эпизод из "Путешествия в Арзрум", в котором Пушкин встречает грузин, везущих в арбе труп зарезанного в Тегеране Грибоедова. На вопрос Пушкина: "Что вы везете?" — грузины ответили: "Грибоеда!":

**Опять над Москвою пожары
И грязная наледь в крови.
И это уже не татары,
Похуже Мамаю — свои.**

**... А ты, до беспамятства рада,
У Иверской купишь цветы.
Сидельцев Охотного ряда
Поздравишь с победою ты.**

**Ты скажешь: "Пахнуло озоном,
Трудящимся дали права".
И город малиновым звоном
Ответит на эти слова.**

Обильно льющаяся по улицам Москвы кровь для героини Галича несовместима со светлыми идеалами свободы. Приходит похмелье, но уже поздно. Кровь льется все гуще, и ее зрелище лишь подбадривает фанатиков:

**И тут ты заплачешь и даже
Пригнешься от боли тупой.
А кто-то нахальный и ражий
Взмахнет картузом над толпой.**

**Нахальный, воинственный, ражий!
Пойдет баламутить народ.
Повозки с кровавой поклажей
Скрипят у Никитских ворот.**

**Так вот она, ваша победа,
Заря долгожданного дня...
Кого там везут? — Грибоеда.
Кого отпевают? — Меня.**

Галич выступает здесь против баламутающих народ ражих фанатиков. Для них кровь — понятие отвлеченное, принимаемое в расчет лишь как показатель победы или поражения. Неизбежный результат их победы — духовное умерщвление человека. Ведь везут же опять мертвое тело "Грибоеда" и этим отпевают будущего Галича. Власть нетерпимости и духовная свобода личности для поэта так же несовместимы, как для Пушкина гений и злодейство.

В "Принцессе из ресторана "Динамо" рассказ идет уже о наших днях. Раз в два месяца молодая, красивая, интеллигентная "принцесса" устраивает для себя праздник — приходит поужинать в ресторан "Динамо". Завсегдатаи ресторана прозвали ее "принцессой с Нижней Масловки". Ее ненавидит, ей жутко завидует "простонародная шушера", проводящая в ресторане свой досуг.

**И все бухие пролетарии,
Все туняядцы и жулье,
Как на комету в планетарии,
Глядели, суки, на нее.**

И вот как дальше разворачивается действие:

**Бабе вокруг, сплошной собес,
Воздев, как пики, вилочки,
Рубают водку под супец,
Шампанское под килечки.**

**И сталь коронок заголя,
Расправой бредят скорою:
Ах, эту б дочку короля
Шарахнуть бы "Авророю"!**

**И все бухие пролетарии,
Смирив идейные сердца,
Готовы к праведной баталии
И к штурму Зимнего дворца!**

Сопоставим "Памяти Пастернака" и "Принцессу". Кажется бы, два совершенно разных явления и время тоже разное, а вот результат один и тот же: "повозки с кровавой поклажей скрипят у Никитских ворот", хотя в первом случае скрипят реально, а во втором — пока еще в потенции.

Тут мы сталкиваемся с еще одной гранью нравственного мира Галича: с его отношением к человеческой личности как к центру мироздания, над которым должна простираться только власть Божественная, но не земная. Земная должна ему служить и помогать. В конечном итоге, Галич не столько обвиняет, сколько жалеет отдельного человека. Во всем, что его уродует, он видит действие сил зла, заложенных не столько в нем самом, сколько в им же созданных обезчелоченных учреждениях. Даже толпа представляется Галичу, как своего рода учрежденческая ипостась. Разница между ними лишь в том, что собственно учреждение превращает человека в робота, в деталь единой сложной машины, в то время как толпа — в функцию политической доктрины. Слившись как с соб-

ственно учреждением, так и с толпой, человек перестает быть самим собой, он гибнет как личность и в этом смысле является жертвой даже тогда, когда сам исполняет роль палача.

Галич жалеет не только загубленные без смысла и цели миллионы эзков, не только евреев, убитых в Варшавском гетто... Его жалость всечеловечна. Он способен пожалеть и кровавых сталинских палачей /помните: "Пожалейте, люди, палачей!"/, и отставного кагебэшника /из "Заклинания"/, мечтающего о том, как бы загнать стихию Черного моря в барак /"На Инту б тебя свел за дело я — ты б из Черного стало Белое!"/. В бредовом предсмертном сне кагебэшнику этому чудится, что мечта его сбывается, и умирает он с блаженной улыбкой счастья на лице. И невольно думаешь: до чего же извращена природа человека, на что направлена, в чем научены люди видеть свое предназначение! Тот же кагебэшник в иных условиях мог бы быть таким же нормальным человеком, как та самая коридорная, что зажгла над ним, счастливым, Божью свечечку.

Одно из примечательнейших свойств творчества Галича в том и состоит, что в нем нет ни капли ненависти ни к одному отдельному человеку, каков бы он ни был. Даже Сталина, самого великого злодея и палача над палачами, он пытается в поэме "О бегунах на длинную дистанцию" по-человечески себе и нам объяснить, А возьмем "нижние этажи" подлинно советских, то есть уже по определению ущербных людей — всех этих Климов Петровичей Коломийцевых, Егоров Петровичей Мальцевых и прочих подобных им "героев" Галича. По природе своей они вовсе не плохие люди. Помните: Клим Петрович готов даже пренебречь своей зарплатой ради того, чтобы добиться почетного звания для руководимой им бригады. Он наивно верит, что трудится действительно ради общего блага. Таким, как он, просто не хватает нравственного развития, чтобы осознать извращенность мира, в котором они существуют. Для них этот мир тотален, единственен, другого они не знают. Принимая его как должное, они и становятся бессознательными орудиями воплощенного в нем зла. Это воплощенное в нашем мире зло и клеймит и ненави-

дит Галич, а Клима Петровича, как человека, и любит, и жалеет.

**Вот он стоит, счастливый человек,
Родившийся в смиренной рубашке...**

("Ода счастливому человеку")

Людей, родившихся в смиренной рубашке, необходимо жалеть, но нельзя забывать, что они опасны, ибо только и ждут часа, когда придет их, сталинское, время:

**Но и в прахе хранят обличье.
Им бы, гипсовым, человечины,
Они вновь обретут — величие.**

Зло неотделимо от человека, ибо человеческие учреждения и толпа состоят не из кого-либо иного, а из живых людей.

Однозначно отношение Галича к палачам, независимо от того, выступают ли они в обличии рядовых вертухаев или секретарей ЦК. Несколько сложнее у него отношение к Климам Петровичам. Они все же люди, живые люди, а не просто запрограммированные учреждениями роботы. И когда Галич сталкивается с нетерпимостью толпы, состоящей из Климов Петровичей, он нередко впадает в отчаянье. Вот эта устрашающая толпа из "Ресторана "Динамо": чего можно ждать от нее, кроме погромов? Дай ей только волю, а уж она себя покажет! Наблюдение же за паноптикумом ублюдков, встреченных автором в санатории под Москвой, приводит его к выводу, что мы /то есть интеллигенция, то есть те, кто стремится поднять человека из грязи, в которую он погружен/ "живем и умираем послами неизвестной и ненужной державы..." Казалось бы, не осталось уже никакой надежды, и выхода нет, ибо то, что нам кажется ненормальным, и есть, очевидно, норма. Видит ли Галич проблески надежды? Оказывается, видит все же. У него даже самые простые, далекие от нравственного совершенства люди способны и проявить человечность, и проникнуться состраданием к ближнему, и откликнуться на человеческую беду.

Вспомним, как оклеветанный с высокой трибуны, растерянный и растерзанный партрасправой Михаил Зощенко заходит в шалман и неожиданно встречает там сочувствие со стороны "суки рублевой", Тamarки-буфетчицы, и разных шлюх и алкашей, что обычно в этом шалмане гуляют. Не знали они, что это Зощенко (да и вообще вряд ли слышали эту фамилию), но почувствовали, что у человека горе. И бежит Тamarка-буфетчица в соседнее заведение принести ему бутылку боржома, а вернувшись, приказывает шарманщику: "Играй! Человек в одиночестве!"

**Замолчали шлюхи с алкашами,
Только мухи крыльями шуршали.
Стало почему-то очень тихо.
Наступила странная минута:
Непонятное, чужое лихо
Стало общим лихом почему-то.**

Значит, человеческое начало еще не похоронено. А это значит, человек способен оставаться человеком даже тогда, когда уже с трудом выделяется из толпы себе подобных.

Это, может быть, ключевой вопрос всей поэзии Галича: можно ли вообще до конца истребить в человеке личность? Если можно, то сочувствуй — не сочувствуй, а от надежды откажись и играй траурный марш по человечеству, ибо обречено оно на гибель — еще один не удавшийся Богу эксперимент и только. Если же нельзя, то возникает другой вопрос: способно ли это неистребимое человеческое начало одержать победу над неисчислимыми силами, что стремятся его подавить? Большой вопрос, трудный, и по-разному в разные периоды своего творчества отвечает на него Галич. Но всякий раз он как бы утверждает: несмотря ни на что, человек в конечном счете создан по образу и подобию Божьему, и это в нем сильнее всего.

Веря в человека, Галич стремится к тому, чтобы и он сам поверил в себя. Если человек станет личностью, то этим, с точки зрения Галича, решатся и все проблемы бытия. Поэтому необходимо звать людей жить по своей и только своей правде.

К разным людям обращается с этим своим призывом Галич. Есть среди них простаки, которые, подобно Климу Петровичу, не ведают, что творят. Есть и такие, которые прекрасно это знают, и таких, падших, гораздо больше, чем нам кажется на первый взгляд. В "Балладе о чистых руках" Галич восклицает: "И нечего притворяться, мы ведаем, что творим". Осознание своей греховности есть первый шаг к искуплению греха. И это отчаянное, казалось бы, восклицание Галича таит в себе немалый оптимистический заряд. Докричаться до этих, до падших, — самое для него важное. Но что делает людей такими? Конечно, страх, конечно, шкурность. Все это лежит на поверхности. Галич смотрит глубже: грехопадение человека начинается с обычного равнодушия. Равнодушный человек у Галича — это, в первую очередь, человек слабый. Чувствуя, что он не в силах противостоять перипетиям жизни, он уступает им, для начала анестезировав себя равнодушием.

**От скорости века в сонности
Живем мы, в живых не значась.
Непротивленью совести —
Удобнейшее из чудачеств.**

(*"Поезд"*)

Но до концепции эта тема вырастает в иных строках. Стихотворение "Уходят друзья" Галич предваряет таким пояснением: "На последней странице газеты печатаются объявления о смерти, а на первой — теоретические статьи".

**Уходят, уходят, уходят друзья.
Одни — в никуда, а другие — в князья...
В осенние дни, и в весенние дни.
Как будто в году воскресенья одни.
Уходят, уходят, уходят.
Уходят мои друзья!**

Есть друзья, которые уходят на последней странице, то есть умирают. Но, добавляет Галич, чаще уходят те, кто на первой, кто начинает соучаствовать в официальной подлости и лжи. И ничто не способно утешить его перед лицом этой духовной смерти.

Не дарите мне беду, словно сдачу,
 Словно сдачу, словно гривенник стертый.
 Я же все равно по мертвым не плачу,
 Я ж не знаю, кто живой, а кто мертвый.

И все же оптимистическое начало берет у поэта верх. Оптимизм Галича, правда, тих, осторожен. Оптимизм его сдержан — может быть, само время окрашивает его в эти невеселые тона.

Зажелтит заката охра,
 Небо в саже и в золе,
 Сквозь зашторенные окна
 Строго смотрят окна в окна
 Все зимовки на земле.

И не надо переключки,
 Понимаем все и так.
 Будем в списке ставить птички.
 Не забыть бы соль и спички,
 Сахар, мыло и табак.

Мы, ей-Богу, не горюем.
 Время в путь.
 Ничего, перезимуем,
 Как-нибудь перезимуем,
 Как-нибудь.

Наше трагическое время — не вечность, как не вечна долгая полярная зима. И потому, что человек — человек, мы вправе верить в то, что не только в природе, но и в его жизни после зимы неизбежно наступит весна. Ну а сами-то мы? — "Как-нибудь перезимуем, как-нибудь", — уверяет нас Галич. А уж наше дело поверить ему и готовить наступление предреченной им весны.

Виктория ШВЕЙЦЕР

ДЫМШИЦ И МАНДЕЛЬШТАМ

История одного предисловия

Начну с воспоминаний. Как-то летом 1957 года отец, придя домой, радостно сообщил, что в магазине на Кировской "записываются на Мандельштама", что он записался и что книга должна вот-вот выйти в Большой серии "Библиотеки поэта". Помню, как я обрадовалась, хотя мне, к тому времени уже окончившей филологический факультет Московского университета, имя Мандельштама было известно лишь понаслышке. Откуда? Официально — из доклада Жданова о журналах "Звезда" и "Ленинград", который и в школе и в университете "проходили" и цитировали весьма усердно. Неофициально — скорее всего от старшего брата, большого любителя и знатока стихов. Помню, что к тому времени мне уже показали квартиру, в которой когда-то жил Мандельштам в "доме Герцена". Теперь понимаю, что я давным-давно любила импрессионизм, даже не подозревая, что это — Мандельштам.

Книга Мандельштама, на которую отец так удачно "записался", не вышла ни тогда, ни в последующие годы. Однако,

стихи его начали пробиваться: в журналах, альманахах, рукописных списках. И все же о человеческом облике Мандельштама, о его трагически-страшной жизни я узнала гораздо раньше, чем по-настоящему прочла и полюбила его стихи. Может быть, это даже к лучшему, что "История одного посвящения" Цветаевой, мемуары Эренбурга и "Воспоминания" Надежды Яковлевны Мандельштам, прочитанные задолго до их выхода книгой, внушили мне любовь к этому человеку, восхищение им и удивление его невероятной силой, подготовили к тому, чтобы принять и полюбить его стихи... К чему я пишу все это? А к тому, чтобы дать представление о том, как нужна была книга Мандельштама, как ждали ее те, кто любил русскую поэзию, а Мандельштам знал почти только по имени да по отдельным, иногда случайно попавшим в поле зрения стихам. Не стану утверждать, что таких людей были миллионы или сотни тысяч — круг ценителей настоящей, а не специфически-эстрадной или почему-либо в данный момент "модной" поэзии, по-моему, всегда весьма ограничен, — но их было много, людей разных возрастов и разной степени осведомленности о Мандельштаме, которым книга его нужна была, "как хлеб", по выражению Цветаевой.

Я не говорю уж о стихах последнего десятилетия жизни поэта, которые почти не были опубликованы, но ведь и книги, вышедшие при его жизни, давным-давно никому не доступны. При тиражах в 2—3 тысячи экземпляров могли ли выжить эти маленькие и тоненькие книжечки? А все-таки выжили. Я знаю старого человека, который, показывая мне поэтические сборники 10-х и 20-х годов, с гордостью говорил: "Я покупал их не у букинистов, а тогда, когда они выходили".

В последнем прижизненном сборнике Мандельштама у него вписаны строки и стихи, выброшенные цензурой. И у него же я видела тетрадку — "самиздат" тридцатых годов — составленную из ходивших по рукам стихов Мандельштама и вырезок его стихов, так редко появлявшихся тогда в печати. Там поразило меня четверостишие:

**Язык-медведь ворочается глухо
В пещере рта. И так от псалмопевца
До Ленина: чтоб небо стало небом.
Чтоб губы перетрескались, как розовая глина...
Еще, еще...**

"Чтоб небо стало небом" — это известно, это есть в американском трехтомнике среди отрывков из уничтоженных стихов. Но там и контекст другой, и мысль поэта видоизменяется, получает завершение окончательности. Вероятно, то, что я "открыла" для себя в этой маленькой тетрадке, — лишь какой-то из ранних вариантов так и не дошедшего до нас полностью стихотворения:

**Я больше не ребенок.
Ты, могила,
Не смей учить горбатого — молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб небо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.**

"Язык-медведь ворочается глухо в пещере рта..." Вероятно, действительно, от царя Давида до Ленина всем, кто пытался взывать к человечеству или говорить от его имени, это давалось напряжением воли: "Еще, еще...". Во всяком случае, "от псалмопевца до Ленина" строфа могла быть еще относительно приемлема для цензуры. Но вот уже вместо этих условно-обобщенных фигур возникло "я говорю" — я, Поэт, Мандельштам, по понятиям официальным, не имеющий никаких прав говорить "за всех". И уже вслух: "Ты, могила, не смей учить горбатого — молчи!" Этот образ еще вернется к Мандельштаму; в 1937 году в "Стихах о неизвестном солдате" о себе, о Лермонтове, о Пушкине — о Поэте:

**И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как горбатого учит могила
И воздушная яма влечет.**

Это — ответ на собственные надежды выйти из повиновения поэзии, раскрепоститься и начать самому ею управлять.

В письме жене от 28 апреля 1937 г. он строил планы: "Сейчас я буду сильнее стихов. Довольно им помыкать нами. Давай-ка взбунтуемся! Тогда-то стихи запляшут по нашей дудке...". Для Мандельштама "бунт" оказался возможен только в письме, он остался тем "горбатым", которого учит и исправляет могила. Его жизнь оказалась свидетельством тому, что поэт вынужден до конца исполнить свое призвание, чем бы это ни обернулось для него лично. Призвание необоримо, как явления природы: и вот уже небо поэта разворачивается небом над людьми, его запекшийся рот становится потрескавшейся землей у них под ногами, и он "говорит за всех". Это бесстрашие поэта, готового отвечать за человечество и говорить от его имени, смелость в развитии самой поэтической мысли от одного варианта стихотворения к другому — потрясают. А ведь не исключено, что у каких-нибудь еще стариков лежат подобные этой тетрадошки, в которых "затерялись" мандельштамовские стихи?

Ну, а что же книга, обещанная читателям вскоре после XX съезда? Книжки не было. Между тем, появились в Москве — и даже, говорят, продавались по баснословной цене на черном рынке! — тома из американского Собрания Сочинений Мандельштама. Казалось бы, выход этого Собрания должен был поторопить издателей "Библиотеки поэта" — у нас принято таким образом давать "идеологический отпор" зарубежным недругам. Но в данном случае даже это не ускорило дела. Помню, в начале 1966 года зашел разговор с И.Г. Эренбургом: почему до сих пор не издают книгу Мандельштама? Илья Григорьевич сказал, улыбаясь иронически: "Трудно. Они не знают, что из нее выбросить: как будто и нет ничего антисоветского. Вот, если б нашли, что выбросить, можно было бы издавать".

Время от времени возникали слухи, что книга стихов Мандельштама совсем уж, было, напечатана, да предисловие оказалось неудовлетворительным. Потом говорили, что книга уже вышла тиражом в несколько десятков экземпляров "для служебного пользования", что кто-то видел ее в метро у читающего пассажира... Сменили одного автора предисловия,

потом второго — ни то, ни другое предисловия кому-то негодились. Книга не выходила...

Вдруг однажды — телефонный звонок: "Угадайте, кто будет писать предисловие к Мандельштаму?" Я не угадала, конечно. Имя Дымшица просто не могло придти в голову, ведь он никогда серьезно не занимался поэзией, а писал все то ли про социалистический реализм, то ли про прогрессивную литературу. Правда, однажды, рецензируя Эренбурга, он походя лягнул Мандельштама: "Ставить талантливого, но все же второстепенного поэта Мандельштама в один ряд с этими гигантами (Блоком и Маяковским — В.Ш.), по-моему, не осмотрительно... Поэты эти /Мандельштам, Цветаева — В.Ш./ — в прошлом". Так для чего же теперь Дымшицу "второсортный" Мандельштам? И, главное, зачем Мандельштаму Дымшиц? Оказалось — правда. И в литературных кругах стали посмеиваться: "Теперь-то уж Мандельштама издадут хотя бы ради Дымшица". А совсем недавно, год спустя после выхода мандельштамовской книги с предисловием А. Дымшица, одна из сотрудниц Института Мировой Литературы, где и Дымшиц служил, сказала мне гордо: "Наш Дымшиц пробил все-таки Мандельштама". Сказано это было совершенно искренне, с полным восхищением как Мандельштамом, так и Дымшицем, — и я не нашла, что возразить. А ведь по чести тоскливо и страшно становится при мысли, что в семидесятые годы, после всех съездов и реабилитаций, книгу великого русского поэта Мандельштама, который должен был быть гордостью России нашего века, требуется "пробивать" десятилетиями и помочь ей могут только весьма сомнительные руки Дымшица*

* Писалось это все, когда А.Л. Дымшиц был еще жив. И хотя вроде бы о покойниках не принято говорить нехорошо, но для меня Дымшиц как бы и не реальный человек, а обобщенный образ ортодоксально-официального литературоведа, работающего одновременно и политическим флюгером. А во-вторых, в своем предисловии к "Стихотворениям" Мандельштама Дымшиц подал пример такого неуважительного отношения к погибшему поэту, что мне, я думаю, простится мое неуважение к ныне покойному Дымшицу.

Но все-таки после сорокапятилетнего перерыва, наконец-то, выходит книга Мандельштама! И это и, несмотря ни на что, праздник! Несмотря ни на что — это: Дымшиц под одной обложкой с Мандельштамом, маленький тираж и то, что я совсем не надеюсь достать эту книгу. Впрочем, понятие "маленький тираж" довольно относительно, ибо шесть (всего шесть!) прижизненных стихотворных сборников Мандельштама имели, по-видимому, такой же общий тираж, как этот однотомник "Библиотеки поэта" — 15.000.

Не знаю, записывались ли "на Мандельштама" в книжных магазинах на этот раз, но в Книжной лавке писатели сами организовали очередь на эту книгу, составляли и проверяли списки, дежурили поочередно чуть ли не целую неделю. Некоторые немного побаивались: не будет ли такая очередь выглядеть демонстративной? Зато более двухсот счастливых из нее получили Мандельштама. И мне сразу же повезло — мне дали прочесть эту книгу /правда, через несколько месяцев мне повезло еще больше: мне привезли ее из Америки/.

Я начала читать ее с предисловия, скорее всего потому, что, получив ее, ехала далеко в метро. Читать стихи в метро не могу, не умею, а вступительную статью — вполне можно.

Признаюсь, я ревела прямо в метро, читая статью А. Дымшица "Поэзия Осипа Мандельштама". Праздник от этой книги кончился, так и не начавшись.

Я потом слышала в самых либеральных литературных кругах: "Ну, кто же читает Дымшица? Зачем? Главное, что стихи напечатаны". Я с этим категорически не согласна. Это все то же постоянное интеллигентское стремление спрятаться от правды, не зная, лишний раз не огорчиться. Зачем читать эту статью и зная, ценой какой лжи и позора напечатаны стихи Мандельштама? "Ну, кто же будет читать Дымшица?" А я уверена, что большинство обыкновенных читателей, кому попадется эта книга, особенно молодых (тех, кто ничего не знает о Мандельштаме), обязательно прочтет статью Дымшица и получит преднамеренно, злобно искаженное представление о поэте. И многие из них поверят Дымшицу, воспримут все это как правду. "Что написано пером — не выру-

бишь топором". Такие статьи — зло гораздо худшее, чем пресловутый "Доклад Жданова", например. Доклад выражал определенную официальную установку, а статьи вроде Дымшица хотят выглядеть объективными и даже сочувственными.

Мне сразу же захотелось — не возразить Дымшицу, нет, возражать ему смешно, ибо он не хуже меня понимает, что лжет и подтасовывает — а просто сказать ему в глаза, что он бесчестный человек. Понимая, что публично это сделать не удастся, ведь нигде не напечатают отрицательную рецензию на его предисловие, я написала ему письмо. Вот оно:

Александр Львович!

Как Вам не стыдно заведомую ложь выдавать за полуправду о Мандельштаме? Если Вы позволили себе писать о поэте такой высоты и такой судьбы — не оскорбляйте его фальшью, ложью, подтасовками. Не превращайте трагедию в фарс.

На каком основании Вы изображаете Мандельштама таким дервишем, не любящим быта, дома, оседлости, по странной прихоти кочевавшим из города в город и жившим /да еще с женой/ у каких-то мифических "поклонников"? Наверное, Мандельштам любил бы свой дом, с необходимыми ему книгами и со своим архивом не меньше, чем Вы или любой другой человек, если б ему дали возможность иметь свой дом. Разве Вам не приходило в голову, что он вел жизнь не дервиша, а изгоя — и не по прихоти, а в силу невозможности приспособиться? Неужели Вы не догадались, что скитания Мандельштама начались после революции, а до этого у него, очевидно, был дом, куда он мог возвращаться и из Сорбонны и из Гейдельберга? И разве Вам неизвестно, что в 1919 году он дважды сидел в тюрьме: в Феодосии при Врангеле и в Батуми при независимом Грузинском правительстве?

Как же ни брат поэта Е.Э. Мандельштам, ни знавший его составитель книги не рассказали Вам, что в 1934 г. Мандельштам был арестован и "кратковременно пребывал" в Чердыни, а потом в Воронеже не у "поклонников" и не в поисках новых впечатлений, а в ссылке? Что по окончании ссылки ему

не разрешили вернуться в свой дом к своему быту /очень уж Вам и Н. Чуковскому нравится его "безбытность" и "аскетизм" — это ведь так "поэтично"!/, и последний год на свободе Мандельштам скитался по захолустьям и нищенствовал? Да Вам все это известно лучше, чем кому бы то ни было, просто Вы взяли себе "социальный заказ" фальсифицировать жизнь Мандельштама и с усердием его выполняете.

Как эпически-спокойно повествуете Вы о том, что Мандельштам был "блуждающим светилом", "скитальцем" на литературном горизонте, с которого он "внезапно исчезал", что "свои стихотворения поэт редко сдавал в печать". Все это рассчитано на то, что читатель сделает вывод о Мандельштаме как о чуде, чуть ли не блаженном. В переводе же на нелукавый язык это значит, что такой поэт Мандельштам был не нужен советской литературе и она извергла его из себя, как извергла Ахматову, Цветаеву...

Зачем Вам понадобилось, не объясняя причин, нагнетать "нервозность", "нервические раздумья", "душевную угнетенность", "нервную депрессию"? Может быть, Вы надеетесь, что, прочтя после этого фразу "В 1937 г. оборвался творческий путь Мандельштама", неосведомленный читатель поверит, что поэт душевно заболел и просто перестал писать стихи? "В марте 1937 г. больной, предчувствующий скорую смерть..." — можно подумать, что Мандельштам тихо угасал в собственной постели и умер на руках все тех же безутешных "поклонников"! Уж Вы-то прекрасно знаете, что он погиб в лагере на Колыме и посмертно реабилитирован. Правда, он умер не в начале 1938 г., как Вы для чего-то пишете, а 27 декабря — об этом Вы, исследователь, могли бы и узнать. Как же у Вас рука поднялась так изуродовать и ополщить жизнь и облик погибшего поэта?! Или Вам совершенно безразлично, чем торговать,— лишь бы деньги платили?

Мандельштам — не Ваш поэт. Все, что Вы пишете о стихах, так примитивно и неинтересно, как будто речь идет о Безыменском или Щипачеве. В стихах Вы видите только то, что сверху, первый слой, слова. Достаточно прочесть Ваш разбор значения у Мандельштама слов "ласточка" и "век". Однако

литературоведческую беспомощность Вы ловко соединяете с беззастенчивым передергиванием цитат и фактов. Вам ведь нужно фальсифицировать все: творчество Мандельштама, его мировоззрение, отношение к поэзии — и тем самым свести на нет его трагедию, самый смысл его жизни. Для этого Вы ничем не брезгуете. Ухватившись за какое-нибудь слово, вырвав его из контекста, перевернув смысл с ног на голову, Вы доказываете что-нибудь недоказуемое и Мандельштаму совершенно чуждое. Так, выхватив из лирической строчки:

"С миром державным я был лишь ребячески связан..." слова "мир державный", Вы мусолите их до тех пор, пока не доходите до "ненависти к миру державному". Остановитесь! Какая аристократия, какая военщина, а — главное — какая ненависть? Мандельштам по душевной высоте и широте не был способен к ненависти /разве только к задушившим его литературным чиновникам/, если даже о конвоирах, везших его в ссылку, написал: "Где вы, трое славных ребят из железных ворот ОГПУ?"

Такие же недопустимые манипуляции производите Вы с "веком-волкодавом", со словами "дыша и больше вея" — со всем буквально, к чему прикасается Ваше перо. Здесь работа жонглера, а не литературоведа. Это вообще недопустимо, в данном же случае в особенности: речь идет не о стишках десятистепенного поэта, а о "месте человека во вселенной".

Исходя из Вашей статьи, у Мандельштама такого места нет совсем: он все время от кого-то отстает, кого-то не может догнать, с кем-то не выдерживает соревнования. Вы не в состоянии — литературно и нравственно — позитивно охарактеризовать творчество и взгляды поэта, о котором взялись писать, а потому пользуетесь негативным методом. Мандельштам у Вас "не составил себе сколько-нибудь четкого представления о марксизме", "не умел органично войти в ряды писателей, уверенно шедших навстречу жизни", "не всегда мог расширить свой творческий кругозор", "не поднялся до позиций Блока" /бедный Блок! Избави бог его от таких, как Вы, хвалителей!/, "не сумел подняться до поэтического во-

площения лозунга превращения войны империалистической в войну гражданскую", "приветствовал новую современность, но не осознал во всей полноте ее социалистического содержания и характера"; "нехватка широкого общественного дыхания, недостаточная чуткость к пульсу времени сужала круг читателей его стихов", "он не шагнул широко в сторону новых читательских масс".

Для Вас место Мандельштама "во вселенной" — "поэт-переходник". Откуда это уродливое, безобразное слово? Где Вы его взяли? Что оно должно обозначать? Мандельштам никуда не "переходил" и никакого "переходного периода" не выражал. О ком Вы все это пишете? Какое отношение все эти "представления", "воплощения", "нехватки" могут иметь к поэту Осипу Мандельштаму, мыслившему просто совершенно другими категориями? На таком уровне и такими словами можно, может быть, писать про Жарова или Уткина, — но не про Мандельштама. Понимаете ли Вы вообще, что такое поэзия, что такое Поэт, чувствуете ли, чем Пушкин отличается, например, от Асеева или Сергея Острового? Похоже, что нет, что, кроме злого умысла, в Вашей статье выразилась еще "нехватка" умения "органично войти" в творческий мир настоящего поэта.

К тому же Ваш собственный жизненный опыт, по-видимому, не дает Вам возможности понять человека — Мандельштама — от начала до конца оставшегося самим собой, своей душой не поступившегося, не пытавшегося "служить", "догонять", "соревноваться".

Конечно, поэт и его поэзия менялись с годами, но не потому что, как у Вас сказано, "он серьезно задумывался и относительно перспектив своего идейного роста", а потому что Мандельштам умел видеть мир, думать о смысле бытия, собственной жизни и о том, что происходит вокруг. Это естественный процесс накопления и осмысления жизненного опыта, а не стремление "шагнуть широко в сторону" кого бы то ни было.

Впрочем, Вас сущность не интересует. На протяжении всей статьи Вы или "отечески" журите и поучаете Мандельштама

или пытаетесь оправдать его — очевидно, в своих собственных глазах, ибо в других оправданиях он не нуждается. Разделавшись со стихами, Вы взялись за статьи поэта о литературе и обошлись с ними ничуть не лучше. Здесь Вам совсем свободно: статьи Мандельштама — давно библиографическая редкость, и мало кто может схватить Вас за руку. Поэтому Вы позволяете себе исказить все: поэтические связи Мандельштама, его взгляды на историю, культуру, на место и назначение поэта. Вот лишь два примера.

Приводя ответ Мандельштама на анкету "Читатель и писатель". Вы обрываете цитату на середине фразы: "Чувствую себя должником революции..." и сообщаете читателю, какой тяготился "биографией", средой, окружением. Ах, бедный Мандельштам, по-вашему, он мучался, не зная, чем расплатиться с долгами... Между тем, оборванная Вами фраза кончается недвусмысленно: "...но *приношу ей дары*, в которых она пока что не нуждается" /выделено мною — В.Ш./.

Мандельштам в отличие от Вас понимал, что его поэзия — "дары". Словно в издевку, оборвав цитату, извратив смысл не только этой заметки, но и основного жизненного убеждения поэта, Вы комментируете: "Все, сказанное поэтом в этих строках, было сказано с полной, с предельной искренностью". В искренности Мандельштама сомневаться не приходится. Почему же Вы обошли последний абзац, где поэт и утверждает свое понимание соотношения "поэт и время": "...я глубоко убежден, что при всей зависимости и обусловленности писателя соотношением общественных сил, современная наука не обладает никакими средствами, чтобы вызвать появление тех или иных желательных писателей". Мандельштам ошибся: без всякой науки удалось развести легион "желательных писателей". Однако, если бы Вы познакомили читателя с этими его словами, Вам не пришлось бы писать свою статью и доказывать, что Мандельштам стремился, но так и не смог "соответствовать". Он предвосхитил Ваши бесплодные попытки научить его уму-разуму и ответил Вам еще в 1928 г.: он не мог быть "желательным писателем", он мог быть только самим собой. И это не случайно сорвавшаяся с уст поэта

обмолвка, а его кредо, неоднократно подчеркнутое. Вот хотя бы в статье 1924 г. "Выпад", тоже Вами упоминаемой: "Бедная поэзия шарахается под множеством наведенных на нее револьверных дул неукоснительных требований. Какой должна быть поэзия? Да, может, она *совсем не должна, никому она не должна*, кредиторы у нее все фальшивые!" /Выделено мною— В.Ш./ . А Вы на страницах мандельштамовской книги яростно играете роль его кредитора.

Второе. Вы пишете: "...Возникшее у поэта отвращение к бессердечно-холодной интеллектуальной элите, к снобизму и дендизму также содействовало его отходу от акмеистической группы. Литераторы из "Цеха поэтов" стали ему духовно чуждыми. Нравственно опустошенные эстеты вызывали у него раздражение и негодование... Мандельштам отвернулся от эстетствующих, от живущих без идеалов и вдохновения, от всех тех, о ком он несколькими годами позднее написал с горечью и без пощады: "Кто же они, эти люди — не глядящие прямо в глаза, потерявшие вкус и волю к жизни, тщетно пытающиеся быть интересными, в то время, как им самим ничего не интересно?"

После слов Мандельштама Вы даете сноску, указывающую, что цитата взята Вами из очерка "Армия поэтов", напечатанного в "Огоньке" в 1923 г. Не сомневаюсь, что Вы прочли очерк и отлично знаете, что ни к "интеллектуальной элите", ни к акмеистам, ни к "Цеху" слова Мандельштама не имеют абсолютно никакого отношения. Очерк посвящен *графоманам* начало 20-х годов, поэт пытается понять характер и социальные корни графоманства, но ни одного намека на то, к чему Вы приплели его слова, у Мандельштама нет. Кто же Вам позволил так "цитировать"? Да еще делать далеко идущие выводы из собственных словесных фокусов?

Да побойтесь Бога! Нельзя же так обращаться с человеком, который не может ни вызвать Вас на дуэль, ни подать в суд за клевету, ни вообще как бы то ни было за себя вступиться! Впрочем, Вы, конечно, никого не боитесь.

Позорно читать Ваши "заклинания" на тему о том, что Мандельштам "разорвал с иудаизмом" и "стал русским поэ-

том, сыном России и деятелем ее культуры". В оплеванные Вами 10-е годы, когда Мандельштам начинал, никому не приходило в голову в этом усомниться. Ему не надо было становиться русским поэтом — он был им отродясь. Для этого вовсе не требовалось отрываться от своих предков, своей еврейской крови, даже от иудаизма, если б он чувствовал себя иудеем. Он был русским поэтом и таким останется. Почему же сегодня Вам приходится извиняться за то, что Мандельштам — еврей, придумывать ему какие-то "разрывы"? Этак Вам чего доброго придется скоро доказывать, что Пушкин и Айвазовский, например, — сыны России и деятели ее культуры, а не арап и армянин, случайно захватившие чужие места. Не стыдно ли Вам, еврею и старому человеку, заниматься столь грязным и неблагоприятным делом?

Я никогда ничего Вашего не читала и теперь уж наверняка читать не буду. Слышала о Вас как о человеке крайне беспринципном, но эта статья Ваша превзошла все самые худшие ожидания. Вместо радости, которую должна была принести книга великого поэта, изданная впервые за 45 — сорок пять! — лет, она обернулась благодаря Вам надругательством над его памятью. Не оправдывайте себя тем, что эта статья, может быть, помогла выходу книги. Мандельштам в Вашей помощи не нуждается. Стихи его были сохранены и остались живы без Вас; без Вас их переписывали и читали все, кто любит русскую поэзию. Вы же просто примазались к его честному и светлому имени. Вероятно, эта статья и сохранит Ваше имя в истории литературы. Но, кроме позора, она не принесет Вам ничего.

В. Швейцер.

Москва, 29 января 1974 г.

И далее — мой адрес, чтобы не было впечатления анонимности, а вовсе не из желания или надежды получить ответ.

Для чего я все это ему написала? Прежде всего — для себя, чтобы сбросить тяжесть с собственной души. Ну, и конечно, не без мысли, что ему будет неприятно читать это письмо.

Именно в эти дни, сразу после выхода книги, Дымшиц был

именинником и принимал — не вдова поэта, в собственной памяти спрятавшая и сохранившая полное Собрание его Сочинений, и не те редкие смельчаки, которые хранили листки его стихов и писем, а Дымшиц принимал поздравления с появлением книги Мандельштама. Его предисловие в эти же дни хвалил с трибуны Всесоюзного совещания критиков Б. Соловьев, противопоставляя работу А. Дымшица статье Е.Б. Тагера о творчестве раннего Мандельштама в третьем томе "Русской литературы конца XIX — начала XX веков".

Соловьев говорил: Тагер "утверждает здесь необычайную глубину ранних стихов Мандельштама, не внося в это определение никаких коррективов" — и тем самым свидетельствует об отсутствии у самого себя "исторического чувства". Его статья поэтому носит "явно комплиментарный характер". Зато Дымшицу воздается по заслугам! "Отмечая значительные достоинства в творчестве раннего Мандельштама, автор предисловия не обходит и влияния на его творчество "школы философского идеализма" и "закваски декадентски-символистской и акмеистической эстетики", дающих себя знать в ранних стихах Мандельштама, наряду с догадками..., носящими трезвый, научно-верный характер". Все это и приводит автора предисловия к справедливому утверждению, что к творчеству Мандельштаму нужен "исторический и диалектический подход" — тот, который, на мой взгляд, явно отсутствует в отмеченном очерке Е. Тагера".

Кроме "значительных достоинств", слова-то почти все из доклада Жданова, который хотя и не опровергнут официально, но давно перестал упоминаться как эталон марксистского литературоведения. Просто за все эти годы они других слов не выучили и повторяют на разные лады все то же, чуть-чуть разбавляя его в угоду "духу времени". Вот и считает Дымшиц, что Соловьев его хвалит. Да и сам он был собой горд и доволен. На том же совещании Дымшиц, в частности, высказался и по поводу только что изданного сборника Мандельштама: "В последние годы нами одержаны известные победы в борьбе с нашими идеологическими противниками. Мы отняли у советологов возможность спекуляции на некото-

рых именах — Ахматовой, Мандельштама, Булгакова, Зощенко, Цветаевой... Тем, что у нас издали этих писателей, выбита почва для демагогии, нанесен удар шантажистам, муссирующим легенду о тоталитаристской политике в области культуры, якобы процветающей в нашей стране". Так вот для чего был наконец-то издан Мандельштам! Не для восстановления справедливости, не для советских читателей, не для блага отечественной словесности, а для того, чтобы нанести удар "советологам". Тогда понятно, почему сам Дымшиц взялся за такую работу. Реальными начинают казаться слухи, что большая часть тиража отправлена за границу — бороться с идеологическими противниками.

Видимо, в славословящем хоре единомышленников и прилипал резкой обидой прозвучало Дымшицу мое письмо. Такой обидой, что он даже снизошел до ответа. Вот его ответ — очень показательный для современной "литературной обстановки" и "литературных деятелей" официального типа.

3.2.74

Виктория Александровна!

Получил Ваше грубое ругательное письмо.

Не пойму, зачем Вы мне, советскому человеку и советскому литератору, пожелали поведать Ваши соображения, созвучные тому, что пишется в "Гранях" или "Новом журнале" и вещается радиостанциями "Свобода" или "Свободная Европа"? Может быть, Вы чей-то порученец, просто — подставное лицо?

Вы обещаете в дальнейшем меня не читать. Весьма отрадно. Такой читатель, как Вы, мне не нужен. Мне не нужен читатель, который не любит советскую литературу и советскую жизнь, который не способен вдуматься в то, что читает, который приписывает автору мнимые грехи, который выдергивает из текста слова-слова-слова, толкуя их вкривь и вкось.

Скажу Вам по совести: злоба и глупость — родные сестры. Злоба — плохой советчик. А глупость — неизлечима.

А. Дымшиц.

Хотела было я ответить Дымшицу, что мне не доступны ни "Грани", ни "Новый журнал", ни другие зарубежные издания, да решила не связываться с ним больше. Стоит ли вступать в спор с человеком, который не способен представить, что кто-то может себе позволить по собственной инициативе думать и говорить не так, как официально положено?!

ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ

Автор известной книги "Заложники", переведенной на английский, французский, иврит и другие языки, опубликовал новую книгу **"ПОЛЯРНАЯ ТРАГЕДИЯ"**

Это книга о глубинной России, которую, за редким исключением, не знает никто. В конце 60-х и в 1970 годах автор побывал в Воркуте, Ухте, Норильске и других местах бывших сталинских лагерей. Об этом и рассказывает книга Г. Свирского "Полярная трагедия". Она вызвала единодушное одобрение русской прессы на Западе, отметившей талант автора, сочный народный язык повествования.

*Книга состоит из повести **"ЗАДНЯЯ ЗЕМЛЯ"** и семи рассказов. По-русски опубликована издательством "П о с е в".*

Цена — 24 нем. марки.

Скидка для Израиля — 1/3.

Отказ от земного рая — цена спасения от ада на земле.

*А. Гордин, Юмор без сахара.
"Русская Мысль" №3268. 9.8.1979*



Дора ШТУРМАН

ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ АНДРЕЯ СЕДЫХ

Мысли по ходу чтения

Говорят, что ирония — самый легкий способ казаться умным, а самый легкий способ казаться передовым — отрицание.

Отрицание итогов чужого опыта естественно для подростка, восстающего против готовых истин. У созревающего ума нет еще материала для исследования и отбора. Юношеский максимализм все предлагаемое старшими просто отбрасывает, не понимая, что неконформистское мышление проникнуто безвыходной зависимостью от отрицаемого. Несмотря на свою вроде бы смелость, неконформизм банален и, конструируя свои суждения, пользуется рутинным методом антитезы. Иногда неконформизм из возрастной особенности подростка превращается в идеологию взрослых. Чаще всего это происходит в эпохи, когда общепринятые идеалы переживают жестокую проверку опытом. Как взбунтовавшиеся язычники, неконформисты (они же нигилисты) врываются в кумирни и дубиной разбивают вдребезги вчерашних идолов, которые не сделали мир счастливым. Но идолы это всего-

навсего овеществление наших дум и душ, и заглянуть надо поглубже в себя самих.

Казалось бы, трудно не увидеть, что трагедия XX века состоит в наступлении радикализма и различных идеологических мономаний на гуманизм и свободу духа. Между тем наш современник крошит кувалдой тотального отрицания именно гуманизм и либерализм. Их бить легко: они достаточно беззащитны. Мы бьем по ним, а не по их разрушителям, и стремление некоторых "чудаков" защитить их называем "ностальгией о прошлом". Мы крушим ироническими, скептическими, нигилистическими и прочими молотами "скомпрометированные" либерально-демократические идеалы и не видим, как ухмыляются кровожадные идолы, которые их сожрали в одних странах и готовятся сожрать в других.

Нынче бранить либералов модно и справа, и слева. Впрочем, что теперь право, что лево? Сегодня принято выводить тоталитаризм из либерализма, хотя диктатура есть продолжение демократии не в большей мере, чем мы с вами — продолжение съеденной нами же курицы.

В отличие от многих своих современников, Андрей Седых не страдает инфантильным антилиберализмом, обидой на идеалы, которым трудно сохранить верность и которые нелегко защитить.

Книга его замечательна изящной и ненавязчивой независимостью, с которой он остается верен непреходящим ценностям гуманизма и демократии.

Мне уже случалось и слышать, и читать, что автор "Далеких, близких" предпочитает говорить о привлекательных чертах своих персонажей, обходя худшие. Не думаю, что это так. Я не могу уловить всех нюансов подтекста книги, но меня покоряет добротность и определенность системы отсчета автора в оценке героев книги. Его критерии не корректируются ни голосом идеологии, ни диктатом моды. Андрей Седых не получает удовольствия от обличения. Его огорчает необходимость говорить о ком-то плохо. Но есть вещи, которых он органически не приемлет. Чуждый высокомерия и злорадства, он лишен снисходительности к душевной низости.

Масштаб и свойства явлений нравственных очерчены им без всякой двусмысленности.

Так, литературная одаренность Алексея Толстого не окутывает в глазах Андрея Седых гражданской и человеческой низости "советского графа", а Бунина не лишает величия его трудный, подчас несносный характер. Характер, иногда даже малоприятный, не отождествляется с внутренней основой человеческого существа: с пониманием добра и зла, с отношением к правде и лжи.

Книга Андрея Седых отстаивает представления глубокие и содержательные против представлений расхожих, но ложных.

"Богемность" кажется многим людям первым шагом в искусство, симптомом неординарности. Несчастье и крест некоторых высоких натур: непостоянство, одиночество и отщепенство — в толпе подражателей обретают неодолимую мещанскую пошлость. Подспудно, без деклараций, без чистоплюйства и поучающей интонации (автор слишком много пережил и видел, чтобы быть ханжой) возникает в книге Андрея Седых из опыта многих жизней апофеоз подвижнического труда — одного из пороговых условий творчества.

Парижанину Андрею Седых знаком и доступен вкус артистической неустрашенности, эстетизм романтической бесшабашности и нерасчетливости. Неприкаянные и грациозные, мелькают на некоторых его страницах силуэты художественного Парижа. Гамма его отношения к ним широка: от любования и мягкого юмора до сострадания.

Но ближе, милее ему в его героях строгая обязательность неустанной работы. Тридцать восемь страниц занимают одни только названия работ Милюкова. Тома сочинений Алданова — история России от Екатерины II до Сталина. Бессмертные неповторимые вокальные партии. Стих и проза. Музыкальные сочинения. Грустный смех трех юмористов. Следственные дела Бурцева. Подвижничество неустанно работающих интеллигентов...

Читателя, привыкшего к идеологической избирательности, советской и антисоветской, поражает не только психологическая совместимость автора с людьми глубоко различных ха-

ракторов, но и мировоззренческое многообразие лиц ему близких и симпатичных.

Андрей Седых, по его неоднократному утверждению, — антикоммунист. Но ведь антикоммунизм — это еще не позиция. Один из первых постулатов формальной логики гласит, что чистое отрицание не есть суждение. Люди в зоне, малой или большой, объединены общим врагом. Свобода же разъединяет. Один антикоммунист на свободе вдруг оборачивается таким же моноидеологом, как коммунисты. Другой — объявляет себя либералом и плюралистом и находит противника во вчерашнем союзнике. Свобода не может не разъединить людей, но она же потом и объединяет их по новым, положительным признакам.

Современные критики либерализма говорят о беспомощности или ошибочности общечеловеческого подхода к людям. Они предлагают нам новую (или одну из старых) априорную избирательность: религиозную, национальную, моноидеологическую. Они забывают, что там, где совсем иной гуманистический подход к человеку стал фактом жизни, существование человека и общества бесспорно легче, сноснее. Для Андрея Седых и его близких личностный, гуманистический подход к идеям и людям стал фактом жизни, чертой мироощущения и этики. Антикоммунизм Андрея Седых не предполагает замены одной ("плохой") идеологической мании другой ("хорошей"). Автор воспоминаний и его близкие отвергают силу, которая уничтожает дорогое их сердцам свободное человеческое единение, и при этом знают, чего они хотят. Последнее случается достаточно редко.

На почве моноидеологических моделей возникает война всех против всех. На почве либерального, то есть плюралистического мироощущения рождаются плодотворные личные и социальные союзы и компромиссы.

Может быть, главное несчастье современной оппозиции советскому строю — обилие внутри нее моноидеологических антитез коммунизму. Еще не власть и не строй, а всего лишь направления мысли, чаще всего расплывчатые и смутные, а уже выносят безапелляционные приговоры другим течениям

мысли. Один тоталитаризм дробится на множество взаимоисключающих: националистических, религиозных, социальных. И это ужасно, ибо сулит хождение по кругу, хорошо знакомому.

У кого что болит, тот о том и говорит. В книге Андрея Седых тема, которую я подчеркиваю, не является главной. Скорее, это даже не тема книги, а фон, на котором разворачивается повествование. Но для меня утверждаемое Андреем Седых в его книге искусство цивилизованного сосуществования людей разномыслящих — вещь первостепенно важная. Среди лиц, симпатичных, близких, а, зачастую, и дорогих Андрею Седых, есть эсеры и монархисты, кадеты и консерваторы, западники и почвенники, сионисты и космополиты, авангардисты и традиционалисты, евреи и русские, христиане, иудеи и люди неверующие. Он лишь мимоходом и по случайным поводам говорит об этих признаках своих героев. Его занимает их повседневная живая этика: искренность и отворачивание к чужой неискренности, независимости и уважение к чужой свободе. От бесчестности, от готовности служить низменным силам террора и порабощения он отталкивается бесповоротно, со сдержанной и брезгливой немногословностью. Эта твердость тем более впечатляет, что о многих слабостях и заблуждениях своих героев Андрей Седых сожалеет, но отводит им второстепенное место. Его отношение к людям богато интонациями и оттенками — от любовного поклонения до юмора и глубокой иронии, но полное неприятие адресовано только людям, служащим лжи и насилию.

Бурцев, Алданов, Милюков — много ли общего? Немного, но оно в главном: безупречная, подвижническая фундаментальность и честность в работе, научной, писательской и политической. Отказ от априорных концепций. Исследование в качестве основного способа доказательства истины. Отсутствие культа собственной миссии и наличие культа высоких требований — прежде всего к себе.

Может быть, потому, что посягнуть на советскую власть, действительно, нечеловечески трудно, мы, решившись на это, преисполняемся избыточного самоуважения. Мы легко прес-

тупаем через чужие репутации, чужие самолюбия и чужую преданность. Нам чуть ли не в каждом встречном видятся толстокожие носороги. Мы демонстрируем удивительный дефицит скромности и воспитанности. Впрочем, удивительный ли? Этическая культура, которой проникнуты Алданов, Рахманинов, Милюков и многие другие герои "Далеких, близких", включая автора, насильственно разрушается в России более полувека. Вытоптана этическая преемственность, уничтожено независимое крестьянство с его традициями и его этикой, одна генерация интеллигенции истребляется (в ее непокорной части) за другой. Как может нравственная воспитанность быть свойственной современным советским людям в такой же мере, как, скажем, авторам "Вех" или кругу Андрея Седых?

Для того, чтобы оценить морально-этический ущерб, нанесенный народам СССР коммунистической диктатурой, достаточно бегло взглянуть на эволюцию национальной психологии когда-то российской (русской и нерусской), ныне — советской (даже в своем диссидентстве) интеллигенции.

Для либерализма, ныне столь зло ругаемого, приоритет большинства спорен и относителен. Либерализм преисполнен уважения к лицам, меньшинствам и группам. Тоталитаризм подавил большинство, меньшинства, группы и личность, установив неограниченную власть над ними. К чему, казалось бы, следовало от него возвратиться, если не к либерализму, да еще к хорошо защищенному, обороняющемуся либерализму? Какой подход, кроме либерального (в монархии или в республике — безразлично), позволяет всем элементам нынешних обществ надеяться на сносное сосуществование лиц, меньшинств, групп и большинства? Казалось бы, никакой иной. Но и в этом случае реактивное настроение заглушает голос здравого смысла. Советский агрессивный интернационализм оказался беспощадной "денационализацией" (термин Ф. Энгельса), уничтожением национального своеобразия и свободы (как и всех прочих свобод). Да здравствует крайний национализм!

Здесь неуместно исследовать особенности различных на-

циональных движений, включая русское, в современном СССР. Осмелюсь только заметить, что во всех своих нелиберальных, недемократических, ксенофобийных вариантах эти движения реактивны, а не сознательны. Это автоматическая реакция на уничтожение диктатурой национальной свободы и психологии. Это в существенной мере и обманутость ее дешевым извечным трюком "разделяй и властвуй".

Национализм бывает связан и не связан с дискриминацией других народов. Национализм, предполагающий чью-то дискриминацию, — это реактивная истерия, а не освободительное мировоззрение. Для досоветской российской "интеллигентной интеллигенции" (Г. Померанц), русской, обрусевшей это было самоочевидно.

Сегодня некоторые израильские сионисты, недавно покинувшие Киев или Москву, и (в унисон своим близнецам-противникам) некоторые русские оппозиционеры всерьез решают вопрос о том, имеют ли право евреи, живущие на Руси с дотатарских времен, рассуждать о российских делах. Слово кто-то властен даровать им или отнимать у них это право! Как будто избирательная свобода по идеологическому, партийному или национальному признаку не синоним рабства.

Высокое культурное содружество, разноплеменное российское интеллектуальное воинство, к которому принадлежат Андрей Седых и его далекие, близкие, единодушно игнорирует расистские бредни — как инициативные (нацистские и коммунистические), так и реактивные. Естественное отношение интеллигентного и свободного человека к чужому и своему достоинству распространяется и на вопросы национальные. Сегодня в затопляющей мир интернационалистской и националистической демагогии это спокойное, здоровое, гуманное отношение особенно радует. Оно не посягает ни на чью независимость и самобытность и не воздвигает между людьми и народами непроходимых границ и стен.

Андрей Седых не ощущает обязанности быть консервативным или прогрессистом. Он являет собой несчастный ныне пример не реактивности мышления, а его поступательной свободной работы. С ним не случайно сближаются столь разные лю-

ди: их притягивает дар понимания, умение почувствовать в каждом лучшее, на него опереться. Очень хороши концовки многих миниатюр, позволяющие читателю почувствовать великую разность людей, на которую нельзя посягать без ущерба для посягающего.

Горько, что нынешняя Россия до такой степени не знает эмиграции. Эмиграция более полувека живет внутренними делами России, но, пожалуй, лишь человек, долгие годы проработавший в массовой советской школе, может прочувствовать, насколько радикально удалось диктатуре изолировать Россию от эмиграции. Не потому ли в книге Андрея Седых так много печали?

Автору "Далеких, близких", по его словам, хочется уйти в своих очерках от "ненавистного я" и создать повествование эпически точное. Но только благодаря постоянному ощущению читателем этого авторского "я" повествование превратилось в единую книгу. Хочется верить, что Россия прочтет эту книгу раньше, чем повесть о жизни превратится в литературный памятник.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Вышел в свет юбилейный, 25000-ный номер газеты "Новое Русское Слово". Событие это является знаменательным и важным не только в жизни самой редакции "Нового Русского Слова" и не только в жизни Русского Зарубежья, но, несомненно, и в истории современной мировой печати и журналистики. Нелегким, исполненным материальной нужды, неприязни и вражды со стороны советского тоталитаризма был почти семидесятилетний путь газеты. И, если она мужественно, с честью вышла из многочисленных испытаний, преодолела их, если стала сегодня лучшей русской газетой свободного Запада, то мы обязаны отдать должное труду ее сотрудников и, в первую очередь, ее главного редактора, одного из самых замечательных писателей Русского Зарубежья Андрея Седых.

Нам думается, что путь, пройденный газетой, ее высокая духовность и на деле доказанная способность объединить силы всех трех эмиграций могут служить образцом для многих русских изданий за рубежом. Редакция журнала "Время и мы" поздравляет сотрудников "Нового Русского Слова" и ее главного редактора Андрея Седых и желает газете столь же успешно продолжать взятый ею курс, ее столь важную для дела Свободы работу.

Мы не сомневаемся, что газета не сдаст завоеванных позиций и в будущем так же, как и сегодня, будет отвечать своему высокому предназначению НОВОГО РУССКОГО СЛОВА.



Анатолий ЛИМБЕРГЕР

ПОСЛЕДНЯЯ СЕССИЯ

Из воспоминаний журналиста

Не успеваю открыть дверь и снять пальто, как звонит черный телефон без диска, стоящий на тумбочке рядом с моим столом. Редакторская вертушка. Звук у вертушки (почему вертушка, когда вертеть, собственно, нечего?) резкий, пронзительный, мертвого разбудит.

Сдохнуть мне не дает адская головная боль после вчерашнего. Я подхожу к тумбочке, снимаю трубку.

— Здравствуйте, Лев Николаевич.

— Здравствуйте, Анатолий Валентинович. Зайдите, пожалуйста.

Что бы это могло быть, соображаю я, открывая сначала одну, потом другую дверь редакторского предбанника. Спиридонов разговаривает по другой вертушке — кремлевской. Встретившись со мной глазами, кивает на кресло. Лицо его искажает судорога улыбки. Я сажусь.

— Но, Николай Михайлович, когда же будут материалы?

Пепельно-серое, широкоскулое, словно заточенное низу лицо Спиридонова напоминает охотничий топор. Прядь туск-

лых темнокоричневых волос косо перечеркивает лоб. Я мысленно одеваю его в косоворотку, смазываю лампадным маслом волосы — чтобы блестели. Гармонь, гармонь не забыть! И прохаря с голенищами, опущенными почти до подметок. Вот теперь он вылитый Павлик Морозов в годы своего несбывшегося возмужания. Черт его знает, говорят, деда Главного раскулачили в двадцатые годы. Хотя, наверное, враки. Вряд ли он сумел бы пробиться с таким пунктом в анкете.

— Нет, это никуда не годится! Сессия через пять дней, доклада нет, выступлений — кот нассал...

На щеке Спиридонова ходит желвак. Руку жмет, пальцы склеиваются. Интересно, зачем он это делает? Силу показать? Или просто — терпеть меня не может? Скорей всего — второе. Комплекс неполноценности. В газете никогда не работал. Кончил философский. На первом курсе — комсорг группы. На третьем и до конца — секретарь факультетского бюро. Защитился. Тема диссертации — "Этимология слов учиться, учиться, учиться" в гениальной ленинской триаде, посвященной задачам молодежи".

— Итоги за третий квартал?

"Квартал"! Распределили в Комитет молодежных организаций. Лет пять шастал по загранице. Налаживал связи с молодежью Африки. Потом — в аппарате ЦК. Оттуда — к нам. Было ли время работать над произношением? Да и зачем?

— Значит, договорились. Анатолий Валентинович будет с тобой контактировать. Он делает отчет.

Этих отчетов я настрогал за свою жизнь штук семьсот. Это, конечно, скучнее и менее удовлетворяет в творческом отношении, чем когда куешь что-нибудь нетленное. Зато — деньги. Отчет — тридцатник. Я давно уже перестал их писать. Берешь подшивку пятилетней давности и находишь все, что нужно. Что там у них на повестке дня? О состоянии и мерах по улучшению строительства в городе Москве? Так. Я роюсь в подшивках. Есть! Три года назад обсуждали и состояние и меры. Кладу слева подшивку и начинаю творить.

"Вчера в Колонном зале Дома Союзов, — живьем катаю я, — состоялась сессия Моссовета. Заинтересованно, рачительно,

по-хозяйски критикуя недостатки, внося предложения для выправления положения, депутаты..." Через полчаса первая часть отчета о событии, которое должно состояться через пять дней, лежит на бумаге. Я ощущаю себя в какой-то степени человеком будущего. Что же касается настоящего, то в нем существует одна лишь головная боль.

Надо поправиться. Но денег нет. Я иду в машбюро.

— Сим, у тебя нет трояка до полочки?

Старшая машинистка Сима трясет головой и округляет глаза:

— Откуда? Сама собираюсь.

Кладу начало отчета в папку с оригиналами и возвышаю голос, чтобы перекрыть грохот машинок. Господи, и как они сидят целый день в этом аду!

— Девочки! Трояк до полочки!

Ни отчаяние, звучащее в моем голосе, ни мизерность суммы не рожают отклика.

Тогда я спрашиваю:

— Кто будет сессию печатать?

Грохот мгновенно смолкает.

— Толянчик, — ласково говорит Сима, — погоди, я посмотрю. Может, где-нибудь завалялась. — Она достает кошелек и вытаскивает зелененькую. — Слушай, возьми мне там, если будут, тени для ресниц. А, Толянчик, милый? Ладно? Только обязательно синие. Хотя, если синих не будет, можно перламутровые. Черт с ними, бери любые. Возьмешь?

— Толька, умоляю! — несется из-за Ларисиной машинки. — У Владьки день рождения, пристал — хочу мохеровый шарф. А где я ему возьму, рожу, что ли? Пол-Москвы обегала...

— А мне зонтик складной!

— Батник, батничек! Сорок четвертый размер. Любого цвета! Толенька, все для тебя сделаю! Отдамся! Озолочу! Батничек...

Я сажусь за столик и графлю листок в блокноте. Сима — тени. Валентина — батник. Наташенька — зонтик. Лидия Григорьевна — косынка. Лариса... Женя... На пиво есть. Я возвращаюсь к себе и звоню Малину:

— Николай Михайлович? "Московская правда" беспокоит. Как насчет материалов сессии?

— Приезжай, что-нибудь дам.

Заведующий организационно-инструкторским отделом исполкома Моссовета Николай Михайлович Малин репетирует с депутатом. Он разместился на стуле у стены, изображая аудиторию. Посреди кабинета, на ковре, стоит низкорослая блондинка с волосами, подобренными с затылка и собранными на макушке в пышный золотистый шар.

— Товарищи депутаты, — обращаясь к Малину, чуть слышно произносит женщина.

Увидев в дверях мою голову. Малин делает рукой приглашающий жест: заходи. Я захожу. Малин поворачивается к женщине.

— Нет, нет, Анна... э... э...

— Васильевна, — подсказывает женщина.

— Э... э... Васильевна. Так дело не пойдет. Слишком тихо, понимаете ли. Громче, уверенней, бодрее! Вы же депутат, представитель власти, хозяин города, знаете ли. Потом. Вы выступаете в прениях первой. Задаете, понимаете ли, тон всей сессии. Больше жизни, экспрессии, бодрости. Договорились? Давайте еще раз.

— Товарищи депутаты! — вскрикивает женщина.

Малин вздрагивает и морщится. Репетиция продолжается еще минут сорок. Наконец, измочаленная женщина уходит.

— Знаешь, — говорит мне Малин, занимая свое место за столом, — я тебе откровенно скажу: морока с этими новичками. Возьми, понимаешь ли, эту... , — он взглянул поверх очков на листок бумаги, лежащий у него под рукой, — эту Родичеву. Ткачиха, с Трехгорки. Все для нее разжевано и в рот положено. Лифшиц с комбинатского радио три дня над ее речью сидел. Спрашивается, что от тебя требуется? Прочеть. Внятно, громко, без ошибок и отсебятины. Прочеть.

Я сочувствую Малину. Ему действительно приходится трудно, особенно с посланцами рабочего класса. Пока приведешь их в мало-мальски божеский вид, чтобы не стыдно было на трибуну выпустить, — глядь, срок полномочий и кончил-

ся. И так каждые два года. Только Малин высидит очередной выводок — начинай все сначала. Я думаю, что самый счастливый день для Малина наступит тогда, когда объявят, что депутаты избираются пожизненно.

В аппарате Моссовета Малин считается молодым. Он в отделе всего года три. Сменил Алимкина, которого шуганули за аморалку: трахнул референта, а та забеременела. До этого события Малин был вторым секретарем какого-то райкома партии. Слышет интеллектуалом. В курсе всех дел "Современника" и театра на Таганке. С газетчиками запанибрата: "В аппарате многое надо менять. Гибкости, гибкости нам не хватает". Я его подач не принимаю. В гробу я видел его номенклатурные штучки.

— Много не дам, — говорит Малин и лезет в стол. — Пока есть только сценарий и доклад председателя. Первый вариант.

Все лучше, чем ничего. А сценарий — это вообще замечательно. Со сценарием я чувствую себя, как у Бога за пазухой. Он загодя готовится Малиным и его аппаратом для каждой сессии. Три или четыре странички машинописного текста, в которых, как в семени, заключено все древо сессии: с ветвями и ответвлениями, с корнями, молча работающими в глубине, с лепечущей листвой, с цветами и плодами. Будущему хозяину древа, то есть — председателю сессии, со сценарием ни о чем беспокоиться не надо: все произойдет почти само собой, знай только — читай внимательно и с выражением.

Я тоже люблю читать сценарии. Они наивны и чисты, как глаза идиота, и бесстыжи, как шведский порнографический журнал. Они неправдоподобны, как самум в Антарктиде, и будничны, как зубная щетка. Мне иной раз кажется, что если от нашей эпохи хорошо развитого социализма останутся только эти странички, единственно по ним одним будущий историк вполне сможет судить, насколько же хорошо он был развит.

Вот этот исторический документ. Слово в слово. Как он и будет произнесен председателем сессии через несколько дней.

— Товарищи депутаты! Разрешите третью сессию Московского городского Совета депутатов трудящихся VII созыва считать открытой. Слово для предложения предоставляется депутату Вороничевой.

(После выступления депутата Вороничевой):

— Разрешите, товарищи депутаты, ваши аплодисменты считать за единодушное одобрение предложения избрать в почетный президиум сессии Политбюро ленинского Центрального комитета нашей партии во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Леонидом Ильичем Брежневым. Есть ли необходимость голосовать предложение? Нет? Принимается.

— Товарищи, с повесткой дня все знакомы? Есть какие-либо замечания, изменения, дополнения? Нет. Кто за эту повестку дня, прошу поднять руки. Кто против? Нет. Воздержавшиеся? Нет. Повестка дня принимается единогласно. Слово для доклада "О состоянии и мерах по улучшению строительства в городе Москве" предоставляется председателю Моссовета депутату Промыслову Владимиру Федоровичу.

(После доклада):

— Доклад окончен. Если депутаты не возражают, вопросы к докладчику условимся подавать в письменном виде. Нет возражений? Принимается. Переходим к прениям. Слово предоставляется начальнику Главмосстроя депутату Сидорову. Приготовиться начальнику Главмосжилуправления депутату Щербакову.

(После прений):

— Прения окончены. Переходим к принятию решения. В перерыве работала редакционная комиссия. Она внесла некоторые изменения в решение, которые носят, в основном, стилистический характер. Есть ли необходимость зачитывать эти изменения? Нет необходимости? У кого еще есть какие-либо изменения или дополнения в проект решения? Нет? Тогда голосуем. Кто за то, чтобы принять проект решения, прошу поднять руки. Кто против? Против нет. Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Решение принимается единогласно. Повестка дня сессии исчерпана. Сессия объявляется закрытой. Через

15 минут будет показан новый художественный фильм "Раба любви".

Я выхожу из Моссовета и иду по улице Горького налево, к бульварам. Часы на Пушкинской площади показывают двенадцать. Наверное, Анька уже открыла, соображаю я, сворачивая на Страстной. Толченный кирпич аллеи хрустит под ногами. По боковой аллейке таскается каток. Взад и вперед, взад и вперед. Утрамбовывает. Чтобы было плотно, гладко, ровно, без камешка, сучка и задоринки. Я вспоминаю тот единственный случай, когда сценарий оказался бесполезным, не сработал. Маленький камешек попал в машину. И на тебе — заклинило.

Принесло тогда этот камешек с Охотного ряда.

Вдоль Охотного, от площади Дзержинского до Манежной, — добрых километра полтора, а то и побольше. И все испокон веков переходили Охотный в четырех местах, по четырем пешеходным переходам — у площади, потом пониже, у гостиницы "Метрополь"; еще дальше, у Стереокино — там сейчас построили новый корпус гостиницы "Москва" — и, наконец, у Манежной. Так велось бы, возможно, и по сей день, если б Хрущев не вздумал из дома ЦК на Старой площади ездить в Кремль не по улице Куйбышева, как все люди, а вот — иголки тебе в задницу — по Охотному!

А по Охотному днем — всегда толпа, как во время демонстрации. Конечно, светофоры в ожидании машины Первого переключают на зеленый. Но это мало помогает. Потому что на Охотном днем периферия косяком прет. Периферия мотается день-деньской по "плешке", в треугольнике между ГУМом, ЦУМом и "Детским миром". Рождаются, живет и умирает в очередях.

Все это стадо шарахается поминутно с одной стороны Охотного на другую. И ему, конечно, до Фени, какой там на перекрестке свет врубили.

Хрущев, видно, терпел-терпел, но потом пожаловался кому-то из городских деятелей, что, мол, много времени теряется непроизводительно на таком коротком отрезке, поскольку машина никак не может развить необходимую наи-

высшую скорость. На следующую ночь вдоль Охотного ряда, на всем его протяжении от площади Дзержинского до Манежной, были выстроены металлические решетчатые ограждения и десятков пять милиционеров из спецмехполка МВД. Теперь все должны были в полном порядке переходить Охотный ряд только в двух местах — у площади Дзержинского и у Манежной. А тех, кто норовил нарушить и перескочить через ограждение, ловили и отправляли обратно. За решетку.

Люди очень ворчали. Во-первых, было непонятно, что стряслось, поскольку никаких объяснений новому порядку дано не было. Во-вторых, никому не было охоты за семь верст ходить киселя хлебать, когда для этого просто надо было перейти на другую сторону улицы. В общем, началось брожение умов.

Решили срочно созвать сессию Моссовета. Чтобы разъяснить, что данное мероприятие проведено в порядке заботы о жителях и гостях столицы, для которых через некоторое время вместо наземных пешеходных переходов будут построены удобные, безопасные, просторные и светлые подземные.

— Кто за это предложение, прошу поднять руки, — прочел председатель сессии и, все еще плясая в сценарий, поднял левую руку. Потом он машинально взглянул в зал и обмер: на него смотрел безрукий зал. Все было на месте: депутатские глаза, плечи, прически, уши, носы. Ни одна рука не вздымалась над головами. Председатель облился потом. Сгоряча он решил, что спутал текст и прочел не "прошу поднять руки", как подобало, а что-нибудь неуместное вроде "разрешите ваши аплодисменты считать..." В ужасе он прочел "прошу поднять руки" еще раз. Результат был тот же. В зале нарастал шумок. Наконец, из серединных рядов протянулась чья-то рука:

— Разрешите вопрос?

— Да, да, пожалуйста, — обрадовался председатель.

— Сколько времени будут строиться переходы?

— По плану должны построить за шесть месяцев.

Это взял инициативу в свои руки сидевший в президиуме председатель исполкома Моссовета Дыгай. Его только-только

назначили мэром, и для него начинавшаяся заваруха была уж и вовсе ни к чему.

— И все это время наземные переходы будут закрыты? — допытывался дотошный и потерявший всякую меру избранник.

— Да, но я не понимаю...

— Но почему же? — искренне недоумевал он, обращаясь уже к залу, который одобрительно гудел. — Пусть они себе там под землей копаются, сколько влезет, а люди пока ходят, как ходили. А то что же получается? У меня избиратели телефон оборвали, звонят, возмущаются...

Лицо Дыгая пошло пятнами. Пойди объясни этому дегенерату и всем прочим, что это пожелание Первого!

— Товарищи, товарищи, спокойнее, — застучал он карандашом по микрофону, — будем более дисциплинированными. У нас же сессия Московского совета, а не базар в Ташкенте. Звонят? Ну, и что? Позвонят и перестанут. Нельзя, товарищи, идти на поводу отсталых настроений. Вот вы, товарищ депутат, тот, кто задавал вопросы, ваша как фамилия? Крымов? Вы как считаете, товарищ Крымов, вынося вопрос на сессию, исполком не обсуждал его всесторонне, не взвешивал все за и против? Мы давно, товарищи, готовились к этому шагу. Да, мы знаем, что кое-кто будет недоволен. Но это, товарищи, не наш подход, не большевистский. Большевики должны вести за собой массу, а не подстраиваться под нее. Мы не боимся непопулярных решений, а демагогией, товарищи, давайте заниматься не будем.

Принимались голосовать еще раза четыре. Как заколодило! Дыгай даже требовал, чтобы поднимали руки, кто против. Но тут уж — не на дураков напал. В конце концов сдались. Поняли: деваться некуда, все равно на измор возьмут.

Когда я, наконец, тяну на себя стеклянную дверь Дома журналиста, то чувствую, что если Анька еще не открыла, пропаду. Рухну на пол и сблюю. А может, вообще сдохну, потому что больше терпения нет.

Я спускаюсь по спиральной лестнице в бар. Нет, господа, ты, конечно, есть! Анька стоит за стойкой, руки сложила на

курносых грудях. В баре чисто, прохладно, почти никого. За дальним столиком сидит кто-то одиноко. Отмокает. Я беру сразу три и сажусь у стены. На ней какие-то заезжие ребята, кажется, болгары, намалевали пивную кружку, из которой торчат чьи-то веселые головы, руки и ноги. Идеологически ущербную картинку не замазывают из соображений братской дружбы.

Первую кружку я выпиваю залпом. И сразу берусь за вторую. Пиво свежее, с хорошей, плотной пеной — пятак удержит! Вторую пью медленнее. Боль потихоньку отпускает. В животе теплеет. Жизнь надо стараться прожить так, чтобы не было мучительно больно. Тем более, что она действительно дается один раз. Архиправильная мысль.

Впрочем, Илья утверждал вчера, что, начиная с конца шестидесятих годов, жизнь кое-кому в этой стране дается дважды.

— Значит, начинать сначала? — спросил я.

— Не мели чепухи, — сморщился Илья. — У тебя же, как у девки с большой грудью, — все впереди... Смотри. Сейчас тебе сорок. Что-то понимать в этой жизни ты стал лет с восемнадцати, не раньше. Два года приберем на созревание. Что получается? Получается, что ты, в рамках твоих теперешних интеллектуальных характеристик, жил не больше двадцати лет. Ну, не упрямясь! Дай себе еще хотя бы столько же.

— А что мы там будем делать? — спросил я. Илью — в первый. Себя — в сотый раз. — Дерьмо возить?

— А здесь ты, конечно, его не возишь!

Шум вокруг стоял такой, что мы оба почти кричали. Стоял, не меньше, гомонило в пустых комнатах, отороченных по стенам пунктиром пустых, поставленных на-попа ящиков, на которых громоздились бутылки с водкой и закуска. В наш с Илей угол все время кто-то проталкивался. Совал в руки чашки с водкой. Чокался, плакал, целовался. Песня возникла:

— "Этот день победы порохом пропах..."

Для Ильи это был день победы. Три года в отказе. Две голодовки, демонстрация у ОВИРа. Илья — боец. Я — нет. Есть во мне что-то инфантильное. До седых волос дожил, а все

Толик, Толянчик, Толяша. Для себя я изобрел нечто замечательно прекрасное под названием "теория толчка". Идеальный вариант, в котором теория реализуется на практике, таков.

Вызывает Спиридонов. Редколлегия. Грингауз: "Отдел работает отвратительно. Есть предложение укрепить руководство". Спиридонов: "Согласен, тем более, что горком партии — того же мнения". Я: "Заявление можно сейчас писать?"

— "Это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы!"

А что, если — поражения? Эта мысль мучает меня. Я не хочу уходить со своей земли. Я не хочу уходить, слышите вы, подонки! Почему я должен? Я хочу жить здесь. Слушайте. Отчего бы вам не взять эту мою вторую жизнь? Дарю, берите! Хоть сейчас. И по шпалам, по шпалам!

Я допиваю вторую кружку и звоню в контору.

— Але, — хрипит в трубку Аким.

— Будь добр, — говорю я, — сходи на планерку и заяви семьсот строк отчета с сессии.

— Ты где?

— Буду дома.

— Я спрашиваю, где ты есть?

— Ну, скажи, что в Моссовете. У черта, дьявола, где хочешь. Мне плевать.

— Ты в порядке?

— В полном. Собираюсь удавиться. Прощай.

Следующие два дня я занимаюсь тем, что выбиваю из Малина выступления, проект решения и вариант доклада, уже полностью подготовленный для Промыслова. Окончательный вариант отпечатан на машинке через четыре интервала, так что на страничке помещается строк пятнадцать, не больше. Красным карандашом Лазарь Шуб расставил ударения во всех каверзных словах типа "библиотека", "документы", "проценты".

Я быстро пробегаю глазами доклад. Обычная смесь из хвастовства, дутых цифр, idiotских выводов и неисполнимых указаний.

Вспоминаю при этом забавный эпизод.

Однажды Промыслов вел заседание исполкома. Обсуждали, как строится гостиница "Белград" на Смоленской площади. Промыслов материл всех на чем свет стоит. 25-этажный корпус строили более шести лет! Глубокая тишина царила в зале до тех пор, пока в речи председателя исполкома не промелькнуло слово, которое заставило всех присутствующих встрепетаться.

— Ну, куда это в самделе годится? — укорял Промыслов. — Шесть лет на одном месте кудахчем. И ведь послушать товарищей из Главмосстроя, так получается, что виноват кто угодно, только не они сами. То им документацию во время не спустили, то раствор не возят, то эмигранта на потолок не дали.

При слове "эмигрант" по аудитории прошла легкая рябь.

— Акмигран, Владимир Федорович, — почтительно подсказал начальник Главмосстроя Сидоров.

— Что? — не понял Промыслов.

Аудитория бурно веселилась, втихаря. До всех сразу дошло, что имел в виду председатель. Он вел речь о легком пенопласте, под названием акмигран, который шел на толки.

— Этот материал, о котором вы упомянули. Акмигран... — силился объяснить Сидоров.

— Так вот я же и говорю. Целый этаж две недели стоял неотделанным из-за какого-то паршивого...

Промыслов сделал отчаянную попытку произнести трудное слово. Губы его несколько мгновений беззвучно шевелились. Но борьба оказалась неравной, и председатель Моссовета сдался.

— ...из-за какого-то паршивого пенопласта, — закончил Промыслов.

Иной раз мне приходит в голову мысль: чем занимались бы эти люди в нормальном, а не в перевернутом вверх тормашками мире, в котором мы живем? Мне как-то попался на глаза справочник, в котором были краткие биографии членов и кандидатов в члены Политбюро. Все они родились в разных

местах, но вот образование все, как один, получили в городах, где работали секретарями обкомов. Кириленко — в Свердловске, Брежнев — в Днепропетровске, Воронов (тогдашний председатель Совмина РСФСР) — в Оренбурге. Случайные совпадения? Э, нет! Представляю себе, как первый секретарь обкома партии Леонид Ильич Брежнев "толкал" сопромат в Днепропетровском политехническом институте!

Я задаю себе вопрос. Будучи человеком неглупым, решил ли бы после этого экзамена инженер Брежнев, ну, скажем, стать под мост, который он спроектировал, в то время, когда по нему проходит первый поезд? Вопрос звучит чисто риторически, если принять посылку, что наш инженер — человек неглупый. Между тем, не будь Леонид Ильич первым секретарем обкома, ему пришлось бы учиться по-настоящему и тогда из него вышел бы скорей всего вполне приличный инженер. Член Политбюро, первый секретарь московского горкома партии Виктор Васильевич Гришин, обладатель дипломов сразу двух паровозных техникумов, водил бы себе могучие локомотивы по просторам родины. Михаил Алексеевич Суслов мирно учительствовал в какой-нибудь сельской школе. Как было бы хорошо, покойно и, главное, — справедливо!

Тем временем подходит день сессии.

Начало — в девять утра. Но уже в восемь я подхожу к пятому подъезду Дома Союзов. Я несу с собой портфель, в котором лежит набранный отчет. В то же время портфель — это тара для покупок. Листок, который я графил в машбюро, написан вдоль и поперек. Лезвия для "грека", седуксен для Матюхина, новая девочка из отдела искусства гарантировала билеты на "Комеди Франсез" за оправу для очков. Что там еще? В уголке — крошечными буквами: настойка жень-шеня. Это для Шварца. Старый пират собирается в отпуск без Ани.

Восемь часов. Но у входа уже толпа. Надо было пораньше. Теперь пойдешь пробейся к прилавкам! Единственная надежда — просочиться в комнату президиума. Двое у входа проверяют документы. Интересно, "девятка" сегодня или нет? "Удостоверение, пригласительный... Проходите."

В фойе на втором этаже — выставка. Образцы новых строительных материалов. Где они только берут этот роскошный линолеум? Эту разноцветную плитку с оттиснутыми на ней птичками, рыбами, цветочками. Эту скобянку из тусклого, отливающего ртутью металла? У стендов — никого. Все заняты внизу. Лишь в дальнем углу, на фоне обоев "под дерево", наш фоторепортер Андрей Светлов устанавливает для съемки группу депутатов-рабочих: "Головочку чуть направо, плечики попрямее, подбородочек выше..."

Мне становится жаль несчастных и, проходя мимо, я вполголоса говорю:

— Андрей, лезвия кончаются. Поторопись.

— Бегу, — спохватывается Андрей.

Через мгновение все сыплются по лестнице вниз, на первый этаж, туда, где раскинули свои шатры московские магазины. Представляю, что сейчас там творится! Нет, завсегдагам "плешки" — легче. Они никуда не торопятся. Для них хоть день простоять в очереди, хоть два — ничего не стоит. За тем приехали. У депутата на сессии в запасе час, не больше. Ну, еще, может, во время перерыва полчаса. А надо еще зарегистрироваться. А там, глядишь, позвали на собрание партийной группы. Сплошные нервы. Не купишь сейчас — жди три месяца до следующей сессии.

Я тем временем подхожу к высоким белым дверям, на которых висит табличка "Президиум". По обеим сторонам входа, как на картине Верещагина "Двери Тамерлана", чуть расставив ноги, стоят двое молодых людей в форме сотрудников 9 главного управления Комитета государственной безопасности СССР: черные, до умеренного блеска начищенные полуботинки, серые костюмы /брюки и рукава пиджаков слегка коротковаты/, белые нейлоновые рубашки, серые галстуки с заколками. Девятое главное управление — в просторечии "девятка" — ведает личной охраной Политбюро и секретарей ЦК.

— Здравствуйте, товарищи, — как можно более уверенно, солидно и вместе с тем интимно говорю я, залезая в карман

за удостоверением. "Девятка" дружелюбно смотрит сквозь меня. Ни за что не пустят, думаю я и протягиваю книжечку.

— Пригласительный.

Я даю пригласительный.

— Вам в ложу "А".

— Но мне нужно в президиум. Визировать материал у Владимира Федоровича. И вообще...

— Ложа "А", вторая дверь налево.

— Но я должен...

— Вторая дверь налево.

Я поворачиваюсь, чтобы уйти, и наткнулся на Малина.

— Ну, что, пресса, — спрашивает Малин, — опять нас прописать хочешь?

В гробу и в белых тапочках видел я твой гнусный юмор.

— Да вот, — говорю я, — не пускают.

— Надо пустить, надо пустить, — скороговоркой произносит Малин, устремляясь в дверь.

Я, как пришитый, следую за ним.

И мы проходим. Надо же! "Девятка", немного оторопев, смотрит мне вслед. Я открываю вторые двери и оказываюсь в большой круглой, затянутой белыми тканями обоями комнате президиума.

В это время она еще почти пуста. Лишь за огромным полированным столом, стоящим посредине, сидят двое: заведующий канцелярией Промыслова Лазарь Шуб и замзав особым сектором горкома Кигин.

Лазарь известен всей Москве. Этот мудрый еврей уже лет десять неотлучно при губернаторе. И вообще он — единственный еврей в исполкоме. Поразительная устойчивость Лазаря не может быть объяснена какими-либо его выдающимися качествами. Лазаря держат в качестве живой модели в витрине. Такой же спецеврей есть и в аппарате горкома партии. Одна из штатных единиц инструктора отдела пропаганды и агитации всегда занята лицом с семитским профилем. До того дошло, что когда очередная модель по фамилии Грингауз была переведена к нам в заместители главного редактора, ее

стул в отделе стоял месяца два пустым: искали адекватную замену.

"Престулонаследие по фамильному признаку", — сказал циничный Лазарь.

Кигин — бывший работник органов. Однажды он сказал мне нечто, возможно, вполне банальное с точки зрения людей его круга, но что произносить вслух даже у них считается не совсем приличным. Как, скажем, рыгнуть на приеме у английской королевы в Букингемском дворце.

Мы оказались рядом за столом на каком-то приеме. Кигин крепко принял и вообще обрадовался возможности пообщаться на интеллектуальном уровне.

— Ты читал "Один день Ивана Денисовича"? — спросил он меня.

— Читал.

— Ну, и как?

— Здорово, по-моему.

— В литературном смысле или вообще?

— И так и этак.

— Чуть собачья! А скажи, кто, по-твоему, лейтенант Волковой?

— По-моему, сволочь.

— Муть! Он жертва. Жертва! Иван ваш преступник и падло, это точно. И срок получил законно. А Волковому срок — за что? В тайге, на морозе, летом мошка заживо жрет, лица человеческого на тыщу верст вокруг не встретишь, морды сплошные урканьи. В зоне того и гляди перо под дых получишь. А за что, я вас спрашиваю? Говорят: следователей, которые били, надо судить, сажать. Их пожалеть надо! Из страха били. Попробуй не бить — сам загремишь. Жалуют мразь, которая заложила, отправила на Колыму друзей лучших, отца родного. Он, видите ли, за жизнь боролся. А следователь — не за жизнь?

Комната президиума, между тем, постепенно заполняется. Уверенно входят, шумно здороваются, хохочут, хлопают друг друга по плечам. Девочки-продавщицы занимают свои места у столов, расставленных полукругом. Я отправляюсь отова-

ряться. Я беру все. Лезвия, зонтики, батники из Венгрии, подтяжки из ГДР, тени для Симы, женьшеневую настойку для пирата, голландское средство "роверон" против воспаления простаты — Юре пришлось за него недавно по червонцу за ампулу отвалить, а здесь двадцать ампул всего за восемь рублей — пусть будет. Я беру шарф для Ларискиного Владьки, косынку для Лидии Григорьевны, седуксен для Матюхина. То-то будет радости в коллективе!

Ближе к девяти прибывают Промыслов, Гришин и Микоян. Микоян не депутат Моссовета, но тоже приехал. Не сидится, должно быть, дома абреку на пенсии. Гришин, невысокий рыхлый человек с добрым взглядом карих глаз из-под полуприкрытых век, обходит присутствующих и демократически здоровается со всеми за руку. Сухонький, тонкий, почти прозрачный, как корка хлеба в голодный год, Микоян, сразу отправляется к столикам. Как вы, мол, тут без меня управляетесь с товарами народного потребления?

Без минуты девять все топочущим стадом отправляются на сцену. Я сажусь к телевизору, подключенному к внутренней сети. На его экране попеременно показывают то президиум, то зал. Рядом пристраивается бывший флейтист, а ныне заместитель заведующего отделом культуры горкома Пасечник.

— Товарищи депутаты, — раздается голос из телевизора, — разрешите третью сессию Моссовета считать открытой. Слово для предложения предоставляется товарищу Вороничевой.

Начали. Теперь мое дело следить за сценарием и поглядывать в отчет, не допустил ли кто отсебятины. Редко, но бывает. Время от времени я вижу зал. Зрачок камеры медленно скользит по рядам. Лица. В основном, люди средних лет — начиная от тридцати пяти и выше. Молодежи мало. Много женщин и военных. Не зная, что за ними следит камера, многие спят. Но спят почти профессионально. Как звери, вполглаза. При этом способе сна важно только одно: не пропустить очередную реплику председателя: "Кто за это предложение, прошу поднять руки." Поднять, опустить и снова заснуть.

Другие украдкой вынимают из сумок купленное на торжище. Рассматривают, щупают, нюхают, любовно поглаживают. Мне приходит в голову мысль, что дефицит у нас вовсе не только источник забот и недовольства. Будучи на какое-то мгновение устранен, он становится мощным генератором положительных эмоций. Эмоциональная калорийность дефицита как социального явления очень высока. Рассматриваемый под этим углом зрения, дефицит выступает как положительное явление и вполне может быть причислен к числу наших достижений. А раз так, он может быть обязательно оставлен в жизни советских людей и в эпоху хорошо развитого коммунизма. Впрочем, это так или иначе скорей всего произойдет само собой.

Размышляя об этом интересном предмете, я совсем забываю про сидящего рядом Пасечника. А он-то и дарит мне под конец несколько незабываемых минут.

Это происходит во время выступления последнего оратора — Виктора Васильевича Гришина. Глядя в зал добрыми, немного печальными глазами, интеллигентно грассируя, Виктор Васильевич повторяет почти слово в слово весь доклад, убедительно опровергая краеугольный тезис диалектики о невозможности дважды войти в одну и ту же реку. Разница заключается, пожалуй, лишь в том, что Гришин предлагает резко ужесточить наказания для тех, кто не выполняет план.

— А некоторым товарищам придется, быть может, положить и партийный билет на стол, — рубит Виктор Васильевич.

И тут я вижу, что Пасечник аплодирует. Беззвучно, едва прикасаясь ладонью к ладони, он аплодирует экрану. Глаза его не отрываются от лица Виктора Васильевича, губы шевелятся и я слышу, как он шепчет: "Змечательно! Змечательно!"

Я поднимаюсь с места. Сгибаясь под тяжестью портфеля, иду к выходу. "Девятка" по-свойски подмигивает мне вслед. Я иду в гардероб. И еще издали вижу впереди золотистый шар волос Анны Васильевны. Почему-то я с неожиданной теплотой думаю о ней. Хоть и тряслась, как осиновый лист, а

речь прочла бойко, без запинки. Выучила, наверное. Наизусть! С двумя сумками в руках Анна Васильевна стоит перед гардеробщиком, здоровенным стариком с сигаретой "Мальборо", заткнутой за ухо.

— Не могу, гражданка. Не просите, не могу, — сурово говорит гардеробщик, не глядя на Анну Васильевну;

— Ну что вам стоит, — краснея и стыдясь, уговаривает Анна Васильевна. — Все равно ведь через полчаса кончается, а мне в Беляево полтора часа добираться.

— Не положено. Вы что, не русская? Не понимаете, что вам говорят? Товарищ Малин приказали, пока не кончится, никого не одевать.

— Понимаете, у меня сынишка три часа как из школы пришел, голодный сидит. Накормить некому.

— Да что ты меня ровно девку уговариваешь! — взрывается гардеробщик. — Все словчить, схитрить хочете. Депутаты! Представители власти! Хозяева города! — В голосе гардеробщика звучит презрение.

Анна Васильевна бредет обратно.

Я смотрю ей вслед.

Мне хочется плакать.

Но я не плачу. Я тоже ухожу... Я ухожу.

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 г о д издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве*



Прошло более пятидесяти лет со времени первого большого процесса сталинской эры — Шахтинского дела. Процесс происходил с 18 мая по 6 июля 1928 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Председателем специального присутствия Верховного суда РСФСР был ректор Первого МГУ А.Я. Вышинский, в прошлом меньшевик, в будущем Генеральный прокурор СССР; судьями — "старые большевики" М.И.Васильев-Южин и В.П.Антонов-Саратовский. Обвинение представлял помпрокурора республики Н.В.Крыленко. Процесс был организован с большим размахом. В Колонном зале Дома Союзов ежедневно выделялось 1600 мест для публики и 120 — для представителей советской и зарубежной прессы. О процессах сталинского периода уже написано многое. Шахтинское дело оставалось до сих пор в стороне.

М. РЕЙМАН

ШАХТИНСКОЕ ДЕЛО

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОН

В конце двадцатых годов советская экономика в основном завершила восстановительный период. Это, однако, не означало, что был достигнут довоенный уровень экономической жизни. Большинство промышленных предприятий работало на старом, изношенном оборудовании. В деревне, лишенной эффективной поддержки промышленности, усилился традиционно отсталый характер производства.

Слабая экономика не могла поглотить избытка свободной рабочей силы. Количество безработных во второй половине двадцатых годов поднялось до двух миллионов. В таких условиях ускоренная индустриализация СССР — при сохранении хозяйственной системы, опирающейся на НЭП, — была возможна лишь при условии финансовой и технической помощи из-за границы. В 1926 году было заключено торговое соглашение с Германией: СССР получил германский кредит в размере трехсот миллионов марок. Объем заграничной помощи был тем не менее невелик. Советскому правительству по многим причинам не удавалось улучшить свои отношения с

крупными индустриальными державами, особенно Великобританией и США, нарушенные после революции. Складывавшаяся в СССР система отталкивала иностранный капитал.

Драматические события начали развиваться с середины 1927 года. К этому времени стали очевидными финансовые затруднения, вызывавшиеся большим объемом промышленных капиталовложений. Начали исчезать с рынка товары первой необходимости. Осенью 1927 года резко сократились хлебозаготовки.

С весны 1927 года разразился кризис международного положения СССР, который чрезвычайно усложнил все проблемы. Возникла серьезная угроза международной изоляции и экономической блокады СССР, что крайне ограничило возможности получения иностранной помощи.

Внешнеполитический кризис сопровождался внутривнутриполитическим. На арену внутренней жизни вновь выступила левая оппозиция, руководимая Л.Д. Троцким, Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым, а вместе с ней и группа бывших сторонников "Рабочей оппозиции", возглавляемая Т.В. Сапроновым. В самом партийном руководстве обострились взаимоотношения между Сталиным и группой умеренных — А.И. Рыковым, М.И. Калининым, М.П. Томским, Г.В. Чичериным. Умеренные серьезно подумывали о смещении Сталина с поста Генерального секретаря ЦК ВКП (б). И уж во всяком случае никакого желания развязать ему руки для подавления оппозиции, не имели, понимая, что репрессии лишь усилят Сталина. В этих условиях оппозиция сумела быстро активизироваться. Ее платформа, несмотря на свою крайнюю левизну, содержала немало предложений, направленных на улучшение экономического положения рабочих и деревенской бедноты.

Выступление оппозиции против сталинского руководства, которое не пользовалось особой популярностью, привлекло к ней симпатии довольно широкого круга рабочих и молодежи. Свое влияние оппозиция сохранила и в определенных кругах командного состава армии и флота, среди хозяйственников и дипломатов. Ее деятельность получила широкую огласку в иностранной печати, а также в зарубежных коммунисти-

ческих партиях. По Европе ползли слухи о возможности победы оппозиции.

Создававшаяся ситуация заставляла Сталина мобилизовать силы и ослабляла сопротивление умеренных. Оппозиционеры снимались с постов, исключались из партии, пополняя ряды безработных. Начались аресты. Сталин и его сторонники прибегли к ряду прямых подлогов и провокаций. Чтобы изменить настроения в руководстве ВКП(б), органами ОГПУ распространялась версия о подготовке оппозицией в дни празднования десятой годовщины Октября государственного переворота. Партийный аппарат, государственные учреждения и армия сверху донизу были поставлены под контроль ОГПУ. 14 ноября 1927 года Троцкого и Зиновьева в ускоренном порядке исключают из партии. Одновременно из ЦК и ЦКК были выведены и остальные оппозиционеры. Исход внутривнутрипартийной борьбы был окончательно предрешен.

Обстановка между тем обострялась с каждым днем. В конце 1927 года начались серьезные затруднения в снабжении, которые стали крайне ощутимыми даже в столице. Не хватало муки, хлеба, масла, мыла, текстильных изделий. Возле магазинов вырастали длинные очереди, становившиеся рассадником открытого недовольства.

В деревне развернулась вакханалия насилий; они затрагивали не только зажиточную часть крестьянства, но и середняков и бедняков. Началась подворная роспись обязанностей, обход крестьянских дворов, обыски и изъятие хлебных излишков. На деревенских дорогах вновь, как в гражданскую войну, появились заградительные отряды.

Обстановка в стране усиливала противоречия в политическом руководстве. Камнем преткновения было отношение к вопросу об иностранной помощи. На необходимости такой помощи настаивали Сталин, Рыков, Чичерин, Калинин, Куйбышев.

Против выступали в первую очередь Менжинский и Бухарин. Менжинский отвергал уступки за границе по догматическим соображениям. Он же добивался усиления репрессий, а вместе с тем и роли ОГПУ, засыпал руководство доклад-

ными о чрезвычайном росте контрреволюционной активности и о влиянии оппозиции. Побудительный мотив Бухарина был иным — он боялся укрепления оппозиции в иностранных коммунистических партиях, особенно в Германии и во Франции. Жесткие меры казались ему необходимыми для того, чтобы обезглавить оппозицию и лишить ее связей с "ультралевыми" группами за рубежом.

Конфликт обострился в конце января. Ведущие хозяйственники высказывали сомнения в возможности преодолеть кризис собственными силами, но, с другой стороны, опрос советских дипломатических представителей за границей, проведенный по решению ЦК, показал, что и на существенную иностранную помощь рассчитывать не приходится.

В руководстве партии быстро нарастали изменения. Их движущей силой был блок Менжинского и Бухарина, к которому теперь все больше склонялись Сталин, Молотов, Орджоникидзе. Сталин, очевидно, пришел к выводу, что уступки, не сделанные вовремя, теперь уже не принесут желаемого результата. Поиски выхода перенеслись в сферу внутренней жизни. 26 февраля 1928 года Политбюро приняло резолюцию, в которой хоть и утверждалось, что строительство СССР невозможно без привлечения иностранных капиталов и специалистов, но важнейшей задачей момента провозглашалась борьба за сохранение единства партии и Коминтерна, разлагаемых деятельностью оппозиции. В переводе на нормальный язык это означало, что руководство партии сняло вопрос об уступках иностранным державам, поскольку такие уступки могли лишь усилить оппозицию. Умеренные в Политбюро колебались. Они не располагали собственной программой выхода из критического положения. 2 марта Совнарком принял — по докладам Наркомзема Кубяка и Председателя ОГПУ Менжинского — дальнейшие решения. Они указывали на крайнюю серьезность ситуации и на растущую активность оппозиции. Правительство заявляло, что оно будет жестоко преследовать любые проявления саботажа хозяйственной политики: не только активного и сознательного, но и "пассивного" и "несознательного". Менжинскому были предоставле-

ны чрезвычайные полномочия по надзору за хозяйственной жизнью страны и деятельностью партийных организаций. Неприязненное отношение к ОГПУ, то есть отказ от сотрудничества с его органами, каралось немедленным снятием с постов и передачей дел виновных на рассмотрение ЦКК. Двери для новой волны произвола были широко открыты. Создание громкого Дела о "саботаже" и "вредительстве", которое отвлекло бы внимание от собственных просчетов партийного руководства, висело в воздухе. Им-то и стал "заговор специалистов против советской власти".

РАСКРЫТИЕ "ЗАГОВОРА"

Начальные фазы Шахтинского дела покрыты туманом. Решения Совнаркома того времени свидетельствовали о том, что ОГПУ и часть партийного руководства готовы были свалить ответственность за хозяйственные провалы на оппозицию и старых специалистов. Однако, несмотря на массовый рост "спецедедских" настроений, о кампании против них пока не могло быть и речи. Специалисты пользовались полной поддержкой Рыкова, Куйбышева, Рудзутака и всех без исключения наркомов, ответственных за хозяйственные ведомства. Их мнение разделяли и другие члены политического руководства, не исключая Сталина и Менжинского.

Правы были, очевидно, те из современников, которые полагали, что Шахтинское дело возникло первоначально по инициативе местных органов ОГПУ. Его причины следует искать в специфических условиях тогдашнего Донбасса.

"Донуголь" считался одним из лучших советских промышленных объединений. Тем не менее, рост производства в Донбассе сопровождался сложнейшими проблемами. Ряд шахт и шахтных участков из-за недостатка средств не эксплуатировались, они были заброшены или затоплены. Донбасс стоял на одном из первых мест в СССР по количеству несчастных случаев, в том числе и случаев со смертельным исходом. Внедрение новой техники нередко наталкивалось на сильное сопротивление рабочих. Ощущалась нехватка квалифициро-

ванного персонала, инженеры и техники были перегружены, и это не могло не сказываться на общих условиях производства. Нарушалось трудовое законодательство. Невыносимыми были жилищные и бытовые условия, на улучшение которых не оставалось ни сил, ни средств.

Современники утверждали, что Донбасс снабжался хорошо только водкой. Пьяные драки, скандалы и поножовщина были самым распространенным явлением. Бухарин будет позднее патетически восклицать, что "нужно было быть геройски настроенными рабочими Донецкого бассейна, чтобы вынести все то, что им пришлось вынести".

В конце 1927 года в Донбассе непрерывно вспыхивали конфликты и стихийные забастовки. Росло озлобление против администрации и инженерно-технического персонала. Курс руководства ВКП (б) на борьбу с оппозицией приводил к почти полному зажиму внутривнутрипартийной жизни. Кадровая политика вела к выдвиганию на руководящие посты деморализованных людей. А.С. Бубнов, в качестве эмиссара ЦК ВКП (б), а затем и партийная комиссия в составе Ярославского, Молотова и Томского установит позднее моральное разложение партийной верхушки ряда районов Донбасса, беспробудное пьянство, злоупотребления властью, насилия над женщинами.

Некоторые рабочие, отчаявшись добиться устранения неполадок, особенно несчастных случаев, обращались с заявлениями в органы ОГПУ. С другой стороны, органы ОГПУ, которым не удавалось справиться с растущей волной недовольства, хватались за любую возможность представить рабочим виновников их тяжелого положения.

Первые дошедшие до нас сведения о расследовании по делу контрреволюционной организации, занимающейся в Донбассе вредительством, относятся к осени 1927 года. К весне 1928 года в Донецком ОГПУ уже, очевидно, накопилось известное количество дел инженеров и техников, попавших в сети следствия за разные упущения по службе и неполадки на шахтах. Ход расследования нам неизвестен, но можно предполагать, что следователей не удовлетворяли простые и ба-

нальные объяснения. Речь шла прежде всего о "классово-чуждых элементах". Постепенно накапливались нужные показания. Дело, однако, не получало ходу: результаты следствия расходились с линией партийного руководства по вопросу о специалистах.

Дальнейшие события известны также лишь частично. Согласно одной из версий, уполномоченному ОГПУ по Северному Кавказу Е.Г. Евдокимову удалось пробиться к Сталину, который санкционировал дело. По имеющимся в нашем распоряжении материалам, пальма первенства принадлежала украинскому ОГПУ. Так или иначе, несомненно одно: когда в начале марта вопрос о Шахтах встал на Политбюро, часть его членов имела уже сформировавшееся мнение, другая же была плохо информирована и застигнута врасплох.

Политбюро были, очевидно, предложены показания двенадцати арестованных. Говорилось о причастности к делу немецких инженеров и техников, о связях с заграницей, с бывшими владельцами шахт и с "контрразведками", о вредительстве, о подготовке поражения СССР в будущей войне, о возмутительном обращении с рабочими.

Сомнения в достоверности "заговора" высказывал Рыков. Его, по всей видимости, поддерживал Калинин, а также некоторые другие члены руководства. Возникал вопрос (он будет долго мучить некоторых членов Политбюро), "как это никто ничего не заметил". Менжинский авторитетом ОГПУ гарантировал правильность сведений. В этой связи, очевидно, говорилось о невыясненных пожарах и авариях на других крупных предприятиях, высказывались предположения, что их причиной была также вредительская деятельность. Тогда же было решено придать делу широкую огласку и организовать судебный процесс. Сталин или, возможно, кто-то из его сподвижников, предложил, чтобы общественность информировал в качестве Председателя СНК Рыков. Это был ход конем. Рыков скрепя сердце дал согласие. Путь отступления для умеренной группы в Политбюро был отрезан.

Решения Политбюро ЦК по Шахтинскому делу, принятые в начале марта 1928 года, дают обильную пищу для размышле-

ний. Следствие, даже по тогдашним меркам советских карательных органов, не располагало достаточными данными. Большинство "фигур" будущего процесса еще не было арестовано. Некоторые из них были даже в командировках за рубежом. Сталин спешил. И, по-видимому, главная причина была в том, что он считал положение в стране серьезным и разрядку политического напряжения крайне необходимой.

С самого начала в дело вносилась острая антинемецкая струя. Были предъявлены обвинения не только немецким инженерам и техникам, арестованным ОГПУ. Следствие, вопреки официальным решениям Политбюро, непрестанно стремилось втянуть в дело также немецкие фирмы, сотрудничавшие с СССР, а это не могло не вызвать протестов немецкого правительства, и росла угроза резкого ухудшения советско-германских отношений.

9 марта 1928 года Рыков в речи на заседании Моссовета (опубликованной затем в печати), информировал общественность о "раскрытии заговора". С 10 марта в кампанию включилась "Правда", а за нею и остальная печать. По заводам и учреждениям прокатилась волна митингов. Возмущение было неподдельным: этому способствовали повсеместно натянутые отношения между рабочими и инженерно-техническим персоналом. Но уже 12 марта в руководстве партии вспыхнул скандал. Рыкову было доложено мнение прокуратуры, что материалы украинского ОГПУ не выдерживают критики. Рыков пишет крайне резкое письмо Менжинскому: говорит о преступном своеволии местных органов ОГПУ, о саботаже правительственной политики и, по существу, возлагает на коллегию ОГПУ и лично на Менжинского ответственность за искажения партийной линии. 13 марта письмо Менжинскому посылает Чичерин. По его мнению, это дело будет иметь тягчайшие последствия для международного положения СССР, особенно для его взаимоотношений с Германией, Чичерин предлагает тщательно взвесить обвинения, прежде чем они станут предметом судебного процесса. Серьезные сомнения в целесообразности дела высказывает Калинин.

Вопрос вновь рассматривается партийным руководством.

В ответственных кругах муссируют слухи, что ОГПУ стало жертвой "оппозиционной провокации". В Донбасс в качестве эмиссара ЦК выезжает А. Бубнов. Тогда же принимается решение освободить двух из пяти немецких инженеров и техников; освобождаются также четверо советских специалистов. Эта уступка ОГПУ имела характер гротескного фарса: по всей стране шли новые аресты.

С самого начала было очевидно, что о полной ликвидации Шахтинского дела не может быть и речи. Гласность его приобрела слишком большой размах. Усилия умеренных были поэтому направлены на обеспечение быстрого и квалифицированного следствия и на его ограничение доказанными обвинениями. Частности теряли свое значение.

15 марта 1928 года немецкое правительство, возмущенное произволом советских властей, приняло решение прервать советско-германские экономические переговоры. Этот шаг был встречен аплодисментами в Великобритании, во Франции и в США: для них Шахты являлись лишь дальнейшим подтверждением вывода о невозможности сотрудничества с СССР.

В Советском Союзе возникают серьезные опасения, что конфликт приведет к полному пересмотру восточной ориентации немецкой политики. Это означало бы не только политическую изоляцию СССР в Европе, но и лишило бы стабильности его положение на западной границе. Усилия советской дипломатии оказались подорванными, весь прежний внешнеполитический курс советского правительства повис в воздухе.

Эти первые последствия Шахтинского дела не могли не усилить борьбы по целому ряду внутренних вопросов. Хозяйственное положение принципиально не улучшилось, а чрезвычайные меры лишь усиливали недовольство населения. В деревне происходили открытые волнения. Неспokoйно стало в городах. Резкий характер приобретало движение безработных. К концу мая оно вылилось в Москве в разгром продуктовых магазинов на окраинах города и в столкновения с милицией и подразделениями ОГПУ. В умеренной группе в Политбюро и в правительстве нарастало стремление отказаться от чрезвычайных мер и вернуться к обычному ритму

НЭПа. Стремление это приобретало очевидную антисталинскую направленность. Вопрос о Шахтах в чем-то становился решающим: срыв Сталина на этом деле мог сразу же поставить под сомнение его способность к руководству страной.

19 марта в Москву вернулся для доклада руководству А.С. Бубнов. Содержание его доклада известно лишь частично. Он остро критиковал состояние партийной организации в Донбассе, но вряд ли ставил под сомнение деятельность ОГПУ. Современники говорили о крайне отрицательной роли, которую в этот период сыграл Л.М. Каганович: он исполнял тогда обязанности секретаря ЦК КП (б) У и действовал вопреки возражениям Председателя Украинского Совнархоза В.Я. Чубаря.

При таком соотношении сил умеренные вряд ли могли серьезно воздействовать на ход и результаты следствия. Решения Политбюро запрещали его членам непосредственное вмешательство в следственные дела ОГПУ. Это ограничение, разумеется, никак не связывало Сталина. Умеренная группа в Политбюро поэтому пыталась парализовать последствия шахтинских событий политическими методами. Важно было подтвердить положительное отношение к специалистам и изменить антинемецкую направленность следствия. Посыпалась целая серия заявлений и актов, выражавших эти стремления. Сталин понимал невыгодность фронтального столкновения с умеренными, из которого он пока не мог выйти победителем. Поэтому внешне он против их линии не возражал. Все силы он сконцентрировал на том, чтобы подготовить к предстоявшему в апреле 1928 года пленуму ЦК ВКП (б) достоверную версию дела, способную оказать решающее воздействие на партийное общественное мнение. И вот, под прикрытием успокаивающих заявлений Рыкова, Калинина, Куйбышева, Томского разворачивается лихорадочная деятельность.

23 марта 1928 года нарком РКИ и Председатель ЦКК Орджоникидзе, по договоренности с ОГПУ, рассылает на места директиву об отношении к специалистам. Он называет их

“скрытыми врагами советской власти”, которые, несмотря на внешние проявления лояльности, стремятся к восстановлению капитализма. Местным властям предписывается установить строжайший контроль за их поведением на производстве и в личной жизни. О любых подозрениях необходимо тут же сообщать органам ОГПУ. Вакханалия арестов резко усиливается, она захватывает не только угольную промышленность, но и другие отрасли экономики. Под надзором Крыленко интенсифицируется следствие.

Пленум ЦК ВКП (б) собирается в апреле 1928 года в Москве. Его материалы опубликованы лишь частично. Тем не менее сохранившиеся данные позволяют восстановить картину. На пленуме стоят два основных вопроса: хлебозаготовки и проблема Шахт. Первый вопрос означал одновременно рассмотрение хозяйственного положения в стране в целом. С докладом выступил наркомторг А. Микоян. Микоян был в достаточной степени критичен. Изложив официальную версию о причинах трудностей с хлебозаготовками и положительно оценив экстраординарные меры, он говорил также о катастрофическом положении со снабжением сырьем, о сильном сокращении производства в текстильной промышленности.

Доклад Микояна дополняли выступления наркомфина Брюханова и наркомзема Кубяка. Однако, главное внимание было уделено второму пункту повестки дня. Основным докладчиком был Рыков. Предоставление доклада о Шахтах Рыкову могло казаться уступкой Сталина, но эта уступка была лишь видимой. Рыков докладывал преимущественно о хозяйственно-организационной стороне дела и об устранении недостатков в работе. Он брал под защиту специалистов, особенно специалистов иностранных. Ему противостояли два сообщения: Ярославского, излагавшего результаты обследования партийной работы и политического положения в Донбассе, а также ОГПУ, сделанное, как можно предполагать, Менжинским. Менжинский широко цитировал переписку,

отобранную при обысках и допросах арестованных. Современник с чужих слов передает, что впечатление было ошеломляющим. В зале, впрочем, сидели не юристы. Проверить достоверность документации у них не было возможности. Сталин использовал создавшееся положение, чтобы провести свой тезис о том, что Шахты знаменуют экономическую интервенцию западных держав в СССР. Он обрушился на своих оппонентов за то, что они якобы мечтают о мирном сосуществовании, несовместимом с революционной деятельностью за рубежом. Судьба Шахтинского дела была предreshена.

ПРОЦЕСС

Первоначально Шахтинский процесс должен был открыться в Москве в середине апреля 1928 года. В конце Апрельского пленума было, однако, принято новое решение. Процесс откладывался на целый месяц. Официальная версия говорила о необходимости тщательно подготовить обвинительное заключение. Действительные же причины не вызывают особых сомнений. Интенсивное следствие по делу началось поздно, аресты лиц, которых предполагалось втянуть в процесс, производились в последнюю минуту. Следственные органы не справлялись с “обработкой” арестованных, не было полной уверенности в том, что процесс пройдет благополучно. Но тактика оттягивания не могла продолжаться долго. О процессе было уже объявлено. Германское правительство настаивало на скором судебном разбирательстве. В том же направлении действовала и советская дипломатия, а также умеренная группа в руководстве.

8 мая 1928 года “Правда” публикует обвинительное заключение, подписанное Н. В. Крыленко. Оно устанавливало, что “контрреволюционная организация” специалистов в угольной промышленности начала складываться еще в 1920 году. Согласно обвинительному заключению, эта организация

охватывала не только наиболее крупные рудоуправления Донбасса, но и руководящий центр Донугля в Харькове. В нее были втянуты некоторые крупные специалисты угольной промышленности в Москве. Она не была изолированной: с ней сотрудничали контрреволюционные организации специалистов из других отраслей промышленности.

Контрреволюционная организация осуществляла свою деятельность якобы по указаниям бывших владельцев донецких шахт, находившихся за рубежом, а также иностранных органов и деятелей (подразумевались Польша и Франция), "не имеющих ничего общего с угольной промышленностью". Они оказывали ей финансовую поддержку. Организация ставила своей целью саботаж, вредительство и подрыв обороноспособности страны. Это проявлялось в умышленном выводе из строя целого ряда шахт, в эксплуатации экономически невыгодных участков и слоев, в организации аварий и несчастных случаев, в закупке за границей негодных машин и порче импортной техники, в передаче за границу секретных сведений и материалов, в возмутительном обращении с рабочими, имевшем целью спровоцировать антисоветские выступления.

Обвинительное заключение содержало обвинения в адрес немецких фирм, особенно концерна АЭГ (Всеобщая компания электричества). Им вменялась в вину финансовая поддержка контрреволюционной деятельности, посредничество между вредителями в Донбассе и бывшими владельцами шахт, поставка в СССР негодных машин и участие некоторых служащих этих фирм в саботаже и вредительстве. Обвинение строилось почти исключительно на показаниях обвиняемых, возрождая тем самым, по меткому замечанию зарубежной печати, правовые нормы средневековой инквизиции.

Сегодня, спустя 50 лет после окончания дела, несостоятельность обвинительного акта не подлежит сомнению. Любой объективный суд вынес бы решение о полной реабилитации всех обвиняемых. Следствие велось недозволенными метода-

ми. Применялись: "конвейер", то есть непрерывный многочасовой допрос со сменой следователей; "выстойка", когда арестованных заставляли долгие часы стоять; заключение в камерах с холодным и горячим полом, угрозы расстрела, методы психологического внушения и использование болезненного состояния заключенных.

История, однако, не является юриспруденцией. Поэтому попытаемся установить реальное содержание дела, как оно вытекает из показаний тех обвиняемых, которые сопротивлялись следствию. Всего было привлечено 53 обвиняемых — люди различной судьбы, социального происхождения, культуры, характера и волевых качеств.

Не исключено, что часть обвиняемых сохранила контакты со своими знакомыми за границей, с которыми их связывала долготелая совместная работа. Возможно, что по этим каналам они получали в тяжелые годы НЭПа определенную финансовую поддержку. Ее цель была облегчить их материальное положение. В период кампании советского правительства за сдачу предприятий в концессию иностранным фирмам некоторые обвиняемые, очевидно, поставляли за границу сведения об объектах, выгодных для концессий (не считаясь с тем, что их информация расходилась с интересами государства). Можно далее предположить, что обвиняемые (ответственные за заказы иностранной техники) получали от некоторых немецких фирм денежную поддержку, а потому отдавали заказы предпочтительно им. Несомненным является грубое обращение отдельных инженеров и техников с рабочими, объяснявшееся также общими условиями производства и быта, но в деле не содержалось ничего, что позволяло бы говорить о контрреволюционной деятельности, вредительстве или саботаже. В лучшем случае речь шла о должностных проступках или, может быть, о коррупции некоторых обвиняемых.

Нам неизвестно, что конкретно докладывала прокуратура

политическим органам и правительству. Для опытных юристов не могла, однако, быть тайной несостоятельность обвинительного заключения и недоказуемость наиболее важных обвинений. К тому же ОГПУ, даже после месячной оттяжки процесса, не удалось сломить большинство обвиняемых. Из 53 человек, привлеченных к делу, свою вину признали полностью только 20, 10 признали частично, а 23 отрицали совсем. В ходе процесса подсудимые сплошь и рядом отказывались от своих первоначальных показаний. Положение спасала лишь непрерывная закулисная деятельность ОГПУ.

Прокуратура была вынуждена почти полностью отказаться от специальной экспертизы. Более того: она энергично выступала против экспертизы там, где на ней настаивали защита и подсудимые. Шахтинский процесс был первым в своем роде, и ОГПУ тогда, по всей видимости, еще не располагало достаточным опытом.

Обыски и изъятия, как и следовало ожидать, также не дали ничего существенного. Документальный материал предлагали в первую очередь защитники и подсудимые, что вызывало крайнее раздражение Крыленко. Неблагополучно было и со свидетелями обвинения. Свидетели не могли давать показаний о вредительской деятельности других, не рискуя сами попасть на скамью подсудимых. В лучшем случае за "недоносительство". Прокуратура прибегала к свидетелям-рабочим: они говорили об отдельных сторонах жизни и работы обвиняемых, но были абсолютно не компетентны в сложных технических и экономических вопросах, составлявших основу обвинения.

С особыми затруднениями прокуратура сталкивалась при обвинениях иностранных фирм и специалистов. Эти обвинения были крайне необходимы для обоснования тезиса об "экономической интервенции". Следствие располагало единственным именем бывшего донецкого шахтовладельца, поляка Дворжанчика, а этого было явно недостаточно.

Названия иностранных фирм, в особенности немецких, вновь и вновь выплывали на поверхность процесса, поднимая волны возмущения за границей. После того как к концу мая отношения с Германией накалились до предела, умеренной группе в Политбюро удалось добиться пересмотра решений партийного руководства. 2 июня 1928 года "Правда" опубликовала заявление Председателя ЦИК СССР М.И. Калинина: "Обвинительное заключение направлено против отдельных лиц. Нет никаких оснований для того, чтобы подозревать немецкие фирмы. Советское правительство не связывает процесс с судьбами советско-германских отношений". Заявление было в кричащем противоречии с действительностью, но оно выражало победу умеренной точки зрения.

Главным орудием обвинения стала узкая группа подсудимых — Н.Н. Березовский, А.Б. Башкин, Ю.Н. Матов, С.П. Братановский, А.И. Казаринов, А.В. Детер, Д.М. Суцевский и некоторые другие ответственные работники харьковского управления Донугля, сломленные следствием и давшие согласие сотрудничать с прокуратурой. Но и тут позиция прокуратуры не была вполне прочной. Выдвигая в качестве основного обвинения — вредительство, прокуроры затрагивали святая святых большинства подсудимых — их отношение к созидательному творческому труду, к коллективу людей, с которыми они долгие годы совместно работали.

Характерная ситуация возникла в начале процесса. Защитникам четырех обвиняемых — Братановского, Матова, Суцевого и Казаринова — Муравьеву и Дейнеке удалось в какой-то степени убедить своих подзащитных в том, что их показания создают для них угрозу смертного приговора. Прокуратура оказалась под угрозой потери четырех коронных свидетелей. Об этом узнали в ОГПУ. Не требуется большой фантазии, чтобы представить себе, что происходило в камерах и в кабинетах следователей. И вот, все четверо подают суду уникальные по своему содержанию заявления: они жалуются на своих защитников за то, что те не верят в их виновность и предупреждают их о грозящей опасности смертного приговора. Суд вы-

носит определение: сменить защитников Муравьева и Дейнеко, а их дела передать прокуратуре.

По своему ходу и атмосфере Шахтинское дело несравнимо с последующими сталинскими процессами. Оно проходило под знаком неравной, но тем не менее упорной борьбы между обвинением и подсудимыми. Так, уже в начале процесса обвинение натолкнулось на сильное сопротивление ряда подсудимых. Сломить его было нелегко. За обвиняемыми стояла повседневная привычка к тяготам шахтерской жизни, требующей самоотверженности и мужества, сознание большого проделанного труда. В свой актив обвинение могло записать лишь две сомнительные победы: сдались подсудимые из Кадиевки — главный инженер В.О. Соколов, заведующий шахтой Н.А. Бояринов, нервнобольной техник И.И. Некрасов. Они оговаривали и себя, и других.

Более существенными для обвинения были показания немецкого техника В. Бадштибера, которым его положение иностранца придало определенный вес. Он говорил о плохом качестве машин своей фирмы Кнапп и о взятках советскому персоналу. Из остальных обвиняемых сотрудничали со следствием лишь единицы: главный инженер Щербиновского управления Суцневский (он сломался, несколько приподнялся и опять сломался — окончательно), нервнобольной техник Башкин — еврей, впитавший в себя весь горький опыт животного русского и украинского антисемитизма, он даже не пытался сопротивляться своим мучителям. Ему, однако, еще предстояли горькие минуты. Берлинский монтер М. Мейер ему бросил: "Не понимаю, почему Башкин наговаривает. Он хороший парень и добросовестно трудился". (У Башкина начинается истерический припадок. Крыленко пулей вылетает из зала).

С обвинением сотрудничал также инженер одного из рудоуправлений Н.Н. Березовский; подсудимый Л. Кузьма о нем скажет, что знает его как человека "очень лживого, который любой разговор может истолковать как угодно".

Прокуроры в затруднительном положении. Они отказались от экспертиз, но не разбираются в шахтном деле. Утвержде-

ния обвиняемых противоречат друг другу. Обвинение все больше прибегает к прошлому подсудимых, возмещая недостаток доказательств ссылками на деятельность этих людей до революции и в годы гражданской войны.

Перед судом братья Колодуб. Их положение особенно тяжело. Они не пользуются любовью в своей среде. Е. Колодуб в прошлом шахтовладелец. Оба защищаются неловко, неуклюже и упорно. Отрицают все. Крыленко, отчаявшись сломить это сопротивление, пытается изобразить их в роли пособников белых контрразведок. Этот издевательский метод он применит ко многим обвинениям, что, впрочем, не слишком помогает делу: возникает вопрос — он открыто ставится в зарубежной прессе — почему это прошлое обвиняемых прежде не мешало властям. Процесс идет меж тем своим чередом. Идет допрос дальнейших подсудимых.

В.Н. Нашивочников защищается стойко и квалифицированно; несостоятельность обвинения очевидна. Крыленко, использующий показания более сговорчивых подсудимых, вновь отказывается от экспертизы: "Не станут же обвиняемые на себя наговаривать". Нашивочников мужественно отвечает: "Ни один из обвиняемых не может считаться авторитетным экспертом по вопросам, связанным с вредительской деятельностью другого обвиняемого".

Техник В.И. Беленко категорически отрицает свою вину. В глазах рабочих его скомпрометировала грубость и особенно то, что он допустил на шахту пьяного запальщика, став косвенной причиной его смерти. В прошлом он неосторожно дал показания против других, от которых затем отказался. Это служит судье Антонову-Саратовскому поводом для изощренного издевательского допроса: "Может быть, вас мучили? Может быть, вам угрожали, что поставят к стенке?"

Обвиняемый П.И. Антонов твердо заявляет, что ему ничего не известно о вредительстве. "Вся работа Донугля протекала в условиях гласности и общественной критики". И.Г. Горлов, "герой труда", добросовестный труженик, "частично" признает вину. Его подводит пролетарское происхождение, которое внушает ему повышенное чувство ответственности за не-

поладки в работе, вызванные напряженной обстановкой на шахте. Его арестовали через день после того, как он со своим коллективом установил рекорд часовой добычи угля.

М.А. Овчарек, поляк, советский гражданин. Вину не признает, вредительства не замечал. В разгул антипольских настроений он бросает суду: "Мой народ я люблю и желаю ему счастья".

Ключевым моментом на этой стадии процесса становится сражение Н.В. Крыленко с Л.Б. Кузьмой. Кузьма был Директором Власовской шахты. На Власовку он пришел с Пастуховки. Эту нерентабельную шахту он в несколько лет превратил в "жемчужину Донбасса". Свидетель-коммунист Чемышев скажет о нем на процессе (было тогда еще возможно и такое): "Кузьма — человек энергичный, настойчивый, следящий за развитием мировой техники, способный воспринимать все лучшее и проводить в жизнь". Кузьма защищается убедительно, пытаясь в объяснение сложных экономических, производственных и технических проблем. Крыленко направляет против него сломленных подсудимых. Безрезультатно, они не выдерживают столкновения. Обвиняемый Бояринов плачет, он отказывается от своих показаний. Допрос длится два с половиной дня — время, которое на этом процессе затрачивается на допрос пяти—шести заключенных. Наконец, не выдерживает Крыленко, у него сдают нервы. Он заявляет, что Кузьма — "фокусник" и что он, Крыленко, "не видит необходимости оспаривать те достижения, которые имели место". Впечатление в зале огромное, оно будет сказываться и в дальнейшем ходе процесса. Это, впрочем, не мешает Крыленко требовать для Кузьмы смертного приговора.

Не справившись полностью с подсудимыми на первой стадии процесса, прокуратура рассчитывает наверстать упущенное на второй. Здесь проходят дела ответственных работников Донугля, сломленных следствием и призванных воссоздать общую картину "заговора". Обвинение чувствует себя увереннее. Речь идет уже не о сложных проблемах производства, а о деньгах, взятках, передаче информации и связях — стихии, которая хорошо понятна и не требует разъяснений.

К тому же некоторые факты, очевидно, реальны, речь идет лишь об их "классовой интерпретации", и сначала, действительно, все идет хорошо. Показания подсудимых А.В. Детера и С.П. Братановского идут непосредственно за показаниями сломленных Соколова, Бояринова и Некрасова (на первой стадии процесса). Они производят впечатление. Как из рога изобилия сыплются даты, имена, денежные суммы, составы руководящих центров заговора, количество посланных и полученных писем, совещаний и частных разговоров. Прокуроры легко справляются с подсудимым С.З. Будным. Будный перечисляет обвиняемых, которым он передавал письма из-за границы, но и он отказывается признать свою контрреволюционную и вредительскую деятельность. Обвинители задают издевательские вопросы, в зале стоит смех. Следует допрос Г.А. Шадлуна, он часто теряет сознание тогда, когда его заставляли выступать с обличительными заявлениями. Шадлун пытается сопротивляться, но дает материал против многих. Вскоре, однако, выясняется, что у прокуратуры в этой части процесса не так уж много козырей. Наряду с обвиняемыми, частично признающими свою вину, но не сознающимися в контрреволюционности и вредительстве, перед судом все чаще появляются люди мужественные: начальник эксплуатационного отдела старого Донбасса А.К. Валиковский ("отвергаю, все это совершенная неправда"), директор Донецкой каменноугольной промышленности, затем главный инженер рудоуправления В.В. Владимирский ("работы велись добросовестно"), старший инженер нового строительства П.М. Файерман (о контрреволюционной деятельности ему ничего не известно).

А.Я. Юевич на предварительном следствии давал показания, теперь категорически отрицает вину. Обвинение особенно заинтересовано в том, чтобы сломить этого подсудимого: он часто бывал за границей и имел там много контактов. Юевич не сдается. Перед судом Н.Н. Горлецкий из отдела механизации Донугля, он категорически отвергает вину, доказывая несостоятельность обвинения. Единственный из обвиняемых, он решается защищать свои политические убежде-

ния — убеждения русского либерала кадетского толка — от нападок прокуратуры. Это будет стоить ему головы.

Обвинению, однако, пока удается сохранить лицо. Прокуратура тоже кое-чему научилась на этом процессе. Против каждого обвиняемого, разоблачающего несообразности обвинительного акта, они ставят прочную стену показаний сдавшихся обвиняемых. Затем наступает срыв, поколебавший всю конструкцию процесса. Начинается допрос немецких подсудимых. Обвинение имеет, очевидно, указание вести себя максимально корректно.

Допрос инженера Э. Отто проходит бесцветно. Отто сопротивляется, но Крыленко обыгрывает "kozyрь": Отто — член "Штальгельма", следовательно, "фашист". Перед судом появляется берлинский монтер М. Мейер, старый участник рабочего движения, "неорганизованный коммунист". Он сразу проявляет свою независимость; показания на предварительном следствии он давал под влиянием приступа тяжелой болезни: "Могу сказать, что это неправда" и еще: "Я не мог так говорить о людях, к которым я хорошо относился и которые хорошо относились ко мне". Обвинения во вредительстве его возмущают: "Я честный рабочий, который радуется своему труду". Он ставит под сомнение и обвинение против тех подсудимых, которых он лично знал. Крыленко взбешен. Положение прокуратуры критическое, у нее в запасе лишь один "нужный подсудимый" — деморализованный и изолгавшийся Ю. Матов, один из ведущих работников Донугля, а за ним уже идут обвиняемые из "московского центра", решительно отвергающие свою вину. ОГПУ развивает за кулисами бешеную энергию. С.Г. Именитов, представитель Донугля в Москве, выстаивает; он говорит о "сговоре оговора" и о своей непричастности к делу.

Перед судом Н.И. Скорутто, заместитель председателя Главтопа, учреждения, руководящего угольной промышленностью СССР. Он упорно сопротивлялся на предварительном следствии, теперь же он заявляет, что накануне подписал полное признание. Вспыхивает скандал. Из зала несутся отчаянные крики его жены: "Неправда! Коля, зачем ты гово-

ришь неправду?! Не верьте ему, это ложь!" Скорутто бессильно опускается на стул. Объявлен перерыв. После перерыва Скорутто отказывается от показаний: "Поймите этот кошмар, что я испытал... Я семь лет работаю безгранично честно для советской власти..." и еще о своих показаниях: "Я должен был написать так, чтобы мне поверили, но все это ложь, все это выдумка, все это мое изобретение, как лгали и изобретали Матов, Братановский и другие". В зале волнение, кажется, что выведен из равновесия даже Вышинский, он просит подсудимого успокоиться, обещает объективное разбирательство. ОГПУ, однако, не может выпустить свою жертву. Во время дневного перерыва Скорутто вновь обрабатывают. На вечернем заседании он вновь возвращается к своим показаниям: "Простите, но я так измучился... Больше я не могу..., я сознаюсь во всем". В зале уже нет его жены, но впечатление испорчено окончательно, даже для "Правды".

Остается последний обвиняемый — Л.Г. Рабинович, крупнейший советский специалист, семидесятилетний старик, председатель Технического Совета ВСНХ по углю, человек, пользующийся не только всеобщим уважением, но и любовью. Свидетель проф. Терпигорев о нем на процессе скажет, что своим избранием на пост в Техническом Совете Рабинович обязан тому авторитету и уважению, которым он пользовался среди инженеров "как специалист, человек и товарищ".

До революции Рабинович был одним из крупнейших российских предпринимателей, он славился не только своей энергией, но и вольнодумием. За поддержку рабочих в 1905—1906 годах он подвергался гонениям. Рабинович гордо заявляет суду, что он всегда руководствовался "благородной страстью строить, создавать на несуществующих местах" и исправлять "скверные дела".

Процесс близится к концу. 28 июня Крыленко произносит свою заключительную речь. Он требует смертной казни для 22 обвиняемых. Аргументация Крыленко отдает откровенным цинизмом, в ней играют существенную роль не соображения вины подсудимых, а соображения "пользы" власти.

Вопрос рассматривался на заседании Политбюро, очевидно, 27 июня и 2 июля 1928 года. Умеренные — Рыков, Томский и Бухарин, — поддерживаемые Калинин и Ворошиловым, перешедшими затем на сторону Сталина, — добивались отмены экстраординарных мер, заведших страну в хозяйственный и политический тупик, и возврата к условиям НЭПа. Заседание проходило в чрезвычайно накаленной обстановке, сопровождавшейся грубейшими выпадами Сталина и Молотова против Бухарина.

Поставленный под угрозу потери большинства в Политбюро, а возможно, и в ЦК, Сталин был вынужден сделать ряд уступок. Лично он смертной казни не предлагал, предоставив эту неблагоприятную задачу другим.

ПРИГОВОР

Приговор был объявлен в ночь с 5 на 6 июля 1928 года, после 52-часового заседания суда. Полностью были оправданы четверо: немецкие специалисты: Э. Отто и М. Мейер и советские специалисты Г.П. Потемкин и В.Э. Штельбринг, частично признавшие свою вину. Немецкий техник В. Бадштибер, дававший показания, и трое других обвиняемых были приговорены к условным наказаниям. 11 обвиняемых суд приговорил к расстрелу: Н.Н. Горлецкого, Н.Н. Березовского, Г.А. Шадлуна, А.И. Казаринова, Н.П. Бояршинова, Ю.Н. Матова, С.А. Братановского, Н.А. Бояринова, Н.К. Кржижановского, А.Я. Юсевича, С.З. Будного. В отношении шестерых (Березовского, Казаринова, Матова, Братановского, Шадлуна и Бояршинова) в награду за сотрудничество с ОГПУ и прокуратурой суд ходатайствовал о замене смертной казни другой мерой наказания. ЦИК это ходатайство удовлетворил. Остальные подсудимые были осуждены на разные сроки тюремного заключения от полугода до десяти лет.

Судебному фарсу еще предстояло, однако, вылиться в кровавую драму. По Москве ползли слухи, по всей видимости далеко не беспредметные, что замена приговора ожидается

также для остальных смертников. Такой шаг, инициаторов которого не трудно было бы установить, означал бы косвенное признание неудачи процесса и ощутимый удар по престижу ОГПУ и всей сталинской группы. Рыков и близкие к нему люди никак не скрывали своего недовольства. В накаленной обстановке произошло покушение на здание ОГПУ в Москве на Лубянке. Современники говорили о провокации, организованной самим ОГПУ. Это мнение приписывалось даже Чичерину. Пятеро приговоренных к смертной казни были немедленно расстреляны по решению коллегии ОГПУ. Трагедия Шахтинского процесса завершилась.

Как мы знаем, его продолжением стали многие публичные процессы эры Сталина. Они были инструментом разрядки политического напряжения, с которым власть не могла справиться другими методами. Шахтинский процесс, возникший без предварительного замысла, был лишь "пробой пера". Его неудача отодвинула серию дальнейших процессов на два года. Однако в условиях победы сталинской концепции "Строительства социализма" она не смогла их предотвратить.

Летом 1928 года российский социалист, возмущенный до крайности событиями, происходящими в СССР, написал: "Никакой самый злостный "вредитель" не сумел бы так удачно вбить клин в отношения между Германией и Россией, так дискредитировать большевистский режим, так поощрить его врагов и обескуражить его друзей, так подорвать все международное положение советского правительства, как это собственными руками сделали Сталины и крыленки... Самые опасные "вредители" революции и интересов трудящихся сидят именно в Кремле..."

Автор не претендовал на глубину своих мыслей, он выразил свои чувства и писал политический памфлет. Тем не менее, мы не можем с ним не согласиться хотя бы в одном: ущерб, нанесенный СССР в 1928 году политической линией Сталина и Шахтинским процессом, был равносителен саботажу государственной политики, "вредительству" и "подрыву обороноспособности страны", то есть всему тому, что составляло основу обвинительного акта в первом показательном процессе сталинской эры.

О РОМАНЕ ЛЬВА СТРУВЕ

Настоящий отрывок представляет собой главу из первой части романа покойного Льва Петровича Струве, четвертого сына П.Б. Струве. Он родился в Швейцарии, в Монтре, 19 февраля 1902 г., вскоре после того, как его отец стал эмигрантом при старом режиме, и перед тем, как он, переехав в Штутгарт, стал там издавать журнал "Освобождение". Л.П. скончался также в Швейцарии, в Давосе, в санатории для туберкулезных, в январе 1929 года, незадолго до того, как ему минуло 27 лет.

Л.П. Струве выбрался из России, вместе с матерью и двумя братьями, осенью 1920 года, когда отец его занимал положение Управляющего Внешними Сношениями в правительстве генерала П.Н. Врангеля в Крыму. Обстоятельства его отъезда из России нашли свое отражение в главах, описывающих бегство героя романа на лодке, ночью, через Финский залив, из Ораниенбаума в Териоки.

Как и его герой, Олег Бранд, автор несомненно мечтал попасть в Крым и вступить в Белую армию. Но этому не суждено было сбыться — "Белый Крым" кончился. Вместо того, после короткого пребывания под Парижем, Л.П. уехал с матерью и двумя братьями в Берлин, а потом в Чехословакию, где он и его два брата закончили русскую гимназию в Моравской Тшебове. Затем Л.П. переехал в Берлин, где поступил в Высшую Торговую Школу.

В 1922 г. он заболел воспалением легких, на почве которого у него развился туберкулез. Последующие годы ему пришлось провести по большей части в санаториях — в Силезии, в итальянском Тироле, во Франции и, наконец, в Давосе. После операции пневмоторакса он уже находился, по-видимому, хотя и медленно, на пути к выздоровлению, но схватил простуду и умер. Только одно время, в промежутке между приступами болезни, ему удалось проучиться на русском Юридическом факультете в Праге. Но он очень много читал и занимался сам, проявляя особенный интерес к политическим и экономическим проблемам. В газетах своего отца, "России" и "России и Славянстве" он напечатал несколько статей под псевдонимом "Л. Петров".

Роман, называвшийся по имени героя "Олег Бранд", был большой, в трех частях. Соответственно месту действия, эти части были озаглавлены: "Петербург", "Париж" и "Берлин". Он был написан в 1925 г., когда Л.П. было всего 24 года. После смерти Л.П. отец его думал о напечатании романа, но найти тогда издателя было очень нелегко — особенно для такой большой вещи — и роман остался не напечатанным. Машинописный экземпляр романа — свыше 400 страниц — хранится сейчас у старшего брата Льва Струве, Г.П. Струве.

Лев СТРУВЕ

ОЛЕГ БРАНД

Отрывок из романа

Еще только выйдя на Мойку, Олег встретил ту самую Розочку Явнозон, о которой говорил Варягин. Олег был знаком с ней с детства и относился безразлично к ее еврейству: с антисемитизмом он вообще освоился только после революции и, хотя и ощущал его сильно, как все в то время, но не лично и старых знакомых евреев исключал из общей неприязни к их единомышленникам. Общась с Розочкой, он, несмотря на ее некоторые очень явные и смешные еврейские черты, на имя ее, совсем анекдотическое, видел в ней всегда лишь девушку, которую знал с детства, с которой о многом можно было интересно говорить, которая мило к нему относилась, которая бывала у них в семье и знала и любила мать Олега. Розочка была хорошенькая, и еврейство ее — вопреки словам Варягина — было мало заметно; она была блондинка, высокая, довольно полная. Говорила она очень хорошим русским языком, без всякого неприятного выговора. Олег иногда настолько не думал об ее еврействе, что случайно выражал свою неприязнь к евреям. Принадлежность к еврейству, видимо,

мучила Розочку, и она при малейшем намеке на антисемитизм грустнела. Она знала, что между ней и всеми ее русскими друзьями — пропасть еврейства, по ее ощущению, трагически ненужная, но и неизгладимая ничем.

На ходу — они очень спешили и только мельком поздоровались — Олег спросил:

— Правда, что Блок будет читать?

— Обещался, но он все прихварывает, не знаю, сможет ли.

— А Львов будет?

— Читать — нет, но придет, конечно. Будет много молодых. Много интересных стихов у Шкапской, у Оцупа белорусская поэма.

— Вы можете меня с ним познакомить?

— Конечно, если вы про Львова говорите... Он странный, скучный. Не то, что скучный, это не скука, а какой-то он весь одинаковый и негибкий, односторонний очень.

— Вы ведь у него занимаетесь?

— Да, у него в секции. Учитель он замечательный, в своем деле он мастер. Но у него много других интересов. Даже непонятно: ведь в прошлом он вот в Африку ездил, путешествовал много. Я думаю, его война исковеркала.

— А разве это плохо, что он одинаковый? Ведь, это значит — определенный.

— Да, определенный, конечно, но мало в нем размаха, широты взглядов нет; он как-то не отвечает многообразию нашей жизни. Все-таки жизнь вперед пошла, уж не так стала она определена, много разных стихий ворвалось, раньше неизвестных.

— Вы это о революции?

— Да, и революция, конечно. А главное, не она сама, а рядом с ней идущее пробуждение народа и каждого из нас. Нельзя теперь отделаться от жизни, крестясь на каждую церковь. Ведь это один протест и вполне бессмысленный. Вы знаете, Львов всегда крестится. И главное, только теперь, раньше этого не делал. Это глупо, по-моему отказ от жизни. А ведь жизнь идет...

— Вы странно судите. Вы же не знаете, что у него на душе.

А что он развала нашего общего не принял и идет сторонкой в жизни — я за это и стихи его люблю. У него с самого начала совсем особое мировоззрение.

— Вы думаете? Это не так — у него поза или даже много поз. Он вообще мало что воспринимает. Вот я вас представлю, вы сами увидите.

— Да, сегодня, непременно сегодня.

Чтение стихов уже началось, и молодым людям пришлось подождать несколько минут на лестнице, пока кончил читать первый из выступавших поэтов. Розочка рассказывала Олегу про Львова, что у него есть сын Лев, что он его очень любит и трогательно о нем говорит; что он считает себя большим поэтом, верит в свое избранничество; что он всегда очень любезен, но что он, по ее мнению, уже давно никого не любит (кроме сына, по-видимому) и ко всем людям относится безразлично. Олег жадно слушал, и было досадно, когда их впустили в зал.

Зал был довольно большой, уставленный многими стульями. В одном конце был устроен помост, с которого читались стихи. Народу было немного: все больше барышни, как в то время повсюду; несколько пожилых и принаряженных дам; два-три господина, которым можно было дать лет за 30—40; один какой-то совсем старенький старичок со слуховым рожком.

В одном из передних рядов Олег увидел Верочку Лядову. Она была одна. Рядом с ней сидел какого-то неопределенного возраста, очень худой и высокий господин с маленькой острой бородкой, которую он все время теребил рукой, то засовывая ее в рот, то с видимым удовольствием поглаживая и разделяя пальцами на два пучка, по-горемыкински. Недалеко от господина с острой бородкой сидел знакомый Олегу директор одной Петербургской гимназии. Олег слышал, что он за последнее время стал почти большевиком, и ему не хотелось с ним здороваться. Поэтому он не пошел в ту сторону, где сидела Верочка, а показал своей спутнице пальцем, на два свободных стула в другом конце зала.

— А где Львов?

— Я не видела, я очень близорука. Но вы не бойтесь, он-то будет. А вот Гумилев сегодня, кажется, не придет и читать не будет — это жаль.

На помост взошел какой-то молодой человек, и на Олега и его спутницу сердито зашикали.

— Это — Рождественский, — успела только шепнуть Розочка.

Рождественский читал без всякого кривляния свои очень милые стихи. В стихах этих говорилось о деревне, о самоваре, о вареньи. Было очень мило и приятно слушать, но казалось совершенно необычным, что вот там, рядом, революция — голод, грабежи, расстрелы, — а здесь молодой человек рассказывает о простом, самом обыденном в доброе старое время, а теперь таком необычном; чае с булками и вареньем на балконе помещичьего дома, о старушке-няне, которая разливает чай. Слушая Рождественского, Олег в первый раз подумал, как странно вообще устраивать вечер стихов в такое время; и в первый раз он серьезно остановился на мысли, что в понедельник он может попасться и жизнь его будет кончена.

После Рождественского на помост вышел Блок. В зале захлопали. Олег в первый раз видел Блока. "Как он непохож на свои стихи, — подумал он. — Стихи такие неопределенные, серо-голубые, туманные, без скелета, а он сам маленький, весь сжатый и подобранный. И красивый, очень даже".

Блок читал медленно, однообразным, довольно громким, но без всякого напряжения голосом. Незаметно было, чтобы он хотел прочесть стихи как стихи. Слова однообразно, в равные промежутки следовали одно за другим, ни одно из них не ударялось, не выкрикивалось, не проглатывалось. Такое чтение сперва поражало и утомляло, но постепенно вы отдавались ритму звуков и без напряжения следили за ними. Блок читал одну из глав "Возмездия", ту, где описывается Варшава. В памяти у Олега осталось слово "снег": казалось, вся глава была снежная, но не легкая, как первый зимний снежок, а тяжелая, как когда уже навалило громадные сугробы и от снега больно глазам и спать хочется. И сам Блок казался тяжелым, снежным, и казалось, что он очень устал

и ему хочется спать. Олегу даже стало жалко Блока, которого он по стихам не любил. Глава была довольно длинная, и Блок читал около получаса. Олег все время на него смотрел и заметил, что Блок ни разу не поднял глаз на зал. Казалось, глаза были закрыты, хотя перед Блоком лежали листы гранок, и он их перебирал и откладывал. Но видны были одни тяжелые, совсем желтые веки.

"Тоже как снег, — подумал Олег, — все засыпано, нет глаз".

Блоку много хлопали. Он по-прежнему, ни на кого не смотря, поклонился и медленно, точно с трудом, вышел.

Был объявлен перерыв. Розочка куда-то исчезла, и Олег стоял один в незнакомой толпе. Он вышел в проход, к лестнице, где было просторнее и можно было курить. Его внимание опять привлек господин с бородкой. Он стоял перед другим господином и, размахивая руками, что-то громко говорил. Его собеседника Олег не мог рассмотреть, так как он стоял к нему спиной. Бросалась в глаза только совсем голая, не то бритая, не то лысая голова. Олег прислушался к разговору.

— Неужели вы не чувствуете, что простым отрицанием нельзя уже удовлетвориться? — громко говорил, дергая свою жалкую бородку, незнакомый господин. — В переживаемых нами событиях то и замечательно, что в гнусном зле рождается великое новое, великое будущее. Неужели вы не чувствуете?

И незнакомец в отчаянии засунул чуть что не всю бородку себе в рот; затем с ожесточением ее расправил и, несмотря на то, что собеседник ему не возражал, принялся его опять убеждать:

— Все это время, весь императорский период мы были во лжи. Нас принудительно обвенчали с Европой, когда мы еще были младенцами. Вы же православный, вы не можете отказывать в разводе, вы же не отрицаете права на развод.

— Я сам разводился, второй раз женат, — неохотно ответил другой.

— Простите, я не хотел лично, я забыл. Но вот моя мысль. В этом зле настоящего совершается наш развод с Европой,

наш невольный и необоснованный брак расторгается, мы возвращаемся к нашей первой детской любви, к Азии. Вот за это-то и нельзя отрицать все настоящее; в нем надо отделить зло от скрытого в нем добра, нашего прошлого и нашего будущего.

— О будущем я спорить не буду, я попросту ничего не знаю, а на прошлое наше вы клеветаете, оно все отброшено...

К Олегу подошла Розочка, и он не слышал дальнейшего разговора.

— А я вас ищу, да вот и Львов, идемте.

И Розочка указала на гологолого господина, стоявшего к Олегу спиной и говорившего с "господином с бородкой", как его мысленно называл Олег. И, не дав Олегу опомниться, Розочка повлекла его к разговаривавшим. Львов обернулся и, заметив Розочку, сразу довольно невежливо прервал свой разговор с господином с бородкой, чем последний был заметен недоволен и обижен, и обратился к ней:

— Здравствуйте, Роза Евгеньевна, — голос был ровный, негромкий, глухой.

Здороваясь с Розочкой, Львов улыбнулся, но улыбка была нерадостная — только углы губ склонились вниз, — и от улыбки лицо не стало красивее и привлекательнее: в нем отразилась какая-то горечь и надменность. Это его выражение, скошенный в улыбку рот и горечь глаз, серо-зеленых или, может быть, просто серых, далеко уходящий в почти голую голову высокий узкий лоб и белизна лица, совсем неожиданная (Олег представлял себе Львова загорелым — африканцем), запомнились ярко. Но позже, когда Львов погиб и образ его стал еще более дорогим и пленительным, Олег удивлялся и досадовал на себя, как неотчетливо в его памяти запечатлелся облик поэта. Запечатлелись мелочи: необычайная для Петербурга 1920 года одежда — черная визитка и блестящая белая накрахмаленная рубашка; неподвижность и строгость всего облика; медленность редких движений; медленность речи и неприятный хриловатый голос; белизна рук и лица. А самое лицо помнилось неярко, расплывчато — настолько, что никак не мог Олег вспомнить, какого цвета были глаза (он помнил,

что показались они ему очень злыми, когда Львов говорил с ним наедине, и что смотрел Львов упорно в лицо) и был ли он стриженный или уже лысый. Олег волновался и смущался очень. Сразу захватили душу память долгого ожидания этой встречи с Львовым, восторг от его стихов и мысли и непобедимая застенчивость, не позволявшая выговорить самые простые слова и бросавшая густую краску в лицо, а сердце заставлявшая биться так часто, что рождался страх, что Львов и все окружающие услышат его стук и узнают, как он волнуется, — нелепая робость подростка.

Розочка сказала смеясь, слегка подталкивая Олега:

— Вот, Николай Юрьевич, один ваш почитатель — Олег Николаевич Бранд.

Львов будто ожидал, когда к нему подойдет Бранд. Протягивая руку без единого слова приветствия, заговорил:

— Мне про вас говорили, что вы знаете немного персидский язык, не правда ли?

Растерянность и мгновенное изумление Олега были так велики, что он ничего не ответил. И только пока Львов медленно договаривал, он сообразил, что "так надо" и что, значит, он "должен знать" персидский.

— Я хотел вас просить помочь мне разобраться в одной персидской строчке. Это пустяки, мы успеем в перерыве покончить с этим делом. Здесь есть комната, где я часто работаю, пройдемте туда.

Львов взял Олега под руку и направился с ним в другой конец прохода. Он остановился и, улыбаясь, сказал уже разговаривавшей с "господином с бородкой" Розочке (она всех, кто бывал на Зубовских вечерах, знала; вообще ее знакомство было необъятно):

— Простите, Роза Евгеньевна, я отнимаю у вас кавалера; я сейчас возвращу его вам в целостности, — и он поклонился чопорно.

В комнате, куда привел Олега Львов, была очень странная обстановка: посредине стоял длинный, ничем не покрытый, некрашенный стол, какие бывают в чертежках и лабораториях; около — несколько простых стульев и табуреток; в углу —

маленький, хорошей работы письменный столик и изящное резное кресло с уже обтрепанной, но все еще красивой синей шелковой обивкой; стены был совершенно голые, обои местами порваны. Львов долго молча смотрел на Олега, потом произнес: "Так-с... вот как-с..." — и опять смотрел.

Олег смущенно улыбался и краснел. Львов вдруг заговорил, неожиданно и забавно разводя руками, слегка наклоняясь вперед, будто кланяясь:

— У нас тут незатейливо, все обобрали, и этот стол с трудом отвоевал, — он указал на маленький столик. — Здесь я часто работаю... О персидском языке я нарочно. Вы поняли, конечно. Дело вот в чем...

Львов остановился и снова пристально взглянул на Олега. Глаза его казались злыми в этот момент, а весь он каким-то совсем посторонним и Олегу, и всей жизни.

— Вы едете в понедельник в Финляндию? — слова звучали вопросом, но Львов не ждал ответа. — На вас возлагается следующее. Прошу запомнить точно: главное, имена. Это очень существенно. Вы должны отыскать в Гельсингфорсе капитана второго ранга Леонтия Сергеевича Карпова. При встрече с ним вы должны ему как-нибудь сказать: "Одно утешение в Петербурге театры, особенно Мариинка". После этих слов он вас пригласит как-нибудь отдельно и спросит об Алексее Алексеевиче Велине. Тогда вы скажете, что видели его — это мое условное имя — и передадите от меня следующее: во-первых, в виде общего указания скажите ему, что без какого-нибудь значительного осложнения мы ничего предпринимать не будем и не можем. Мы можем только подготовить почву для взрыва в момент напряжения; в этом смысле ведется наша работа. Это я уже много раз сообщал, но я и вас прошу это повторить. Затем вы ему скажите, что из всех наших перебежчиков я уверен только в Солнцева и в Вилли. Про Страхова я наверное знаю, что он служит и им, и нам, но уверен, что он не выдаст, так как он сам слишком запутан. В остальных я просто не уверен. Запомните: князь Солнцев и Вилли... Затем — и это самое существенное — скажите ему, что Варяг теперь совершенно бесполезен: он трусит, и его невоз-

можно заставить оказать хотя бы малейшую услугу. Он даже может выдать некоторых отдельных работников, чтобы оправдать себя в глазах нужных ему властей. Меня и сенатора и главных он не выдаст — вообще саму организацию он не предаст, это было бы слишком опасно и для него самого, но некоторых малоосведомленных членов он может погубить. Поэтому мы не можем ему открывать никаких имен и пользоваться им. Это очень большая потеря для нас, но необходимо, чтобы Карпов был об этом осведомлен. Это главное. Вы хорошо запомнили?

Раздался звонок, извещавший о конце перерыва.

— Теперь вам лично: вы ведь знакомы с Варягиным? Я вам советую ни под каким видом не выдавать ему, что вы едете. Я просил его направить вас ко мне по поручению сенатора, но ни сенатор, ни я не говорили ему, зачем это нужно. Он сейчас в затруднении и может первого попавшегося предать.

— Я боюсь, что он уже знает...

— Это неприятно. Во всяком случае будьте осторожны и лучше не ночуйте дома. Вы понимаете, что мы вам вполне доверяем, но на вашей совести большая ответственность. Вы не должны видаться с сенатором, его положение сейчас очень трудное. Пойдемте, уже давно звонили... Вы запомнили? Солнцев и Вилли — да, Страхов — нет. Это очень существенно...

Львов направился к выходу. Олег сделал тоже несколько шагов, но затем вдруг схватил поэта за руку:

— Вы мне ничего не скажете?... Вы — Львов... Я ведь в понедельник, может быть, навсегда, может быть, вас больше никогда не увижу... — поправился Олег.

Он был весь красный от волнения. Львов удивленно и сурово взглянул на Олега, затем вдруг положил ему на плечо руку, и губы его шевельнула грустная, слегка ироническая улыбка.

— Вот вы какой! Если вы поймете, я вам скажу на память, на всю жизнь. Вы ведь еще так молоды... — И Львов отчетливо, но гораздо тише предыдущего произнес:

**Есть Бог, есть мир — они живут вовек,
А наша жизнь мгновения и убога,**

**Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.**

Это стихи Гумилева, помните их всегда, тогда жить можно. А жизнь прекрасна...

У дверей Львов остановил Олега:

— Вы молоды, у вас еще все ваши ошибки впереди. Вы, кажется, верите мне, я хочу дать вам один совет. Будьте верны Государю. Помните, что только в верности Ему, в подчинении Ему утверждение вас самих, вашей личности, вашей свободы. Будьте верны Ему, даже если Он погиб. Вам совесть подскажет...

В зале раздались рукоплескания, и Львов открыл дверь. Олег вошел за ним и, увидав, что около Верочки Лядовой место свободно, сел рядом с ней. Он предполагал еще немного остаться, чтобы не было заметно, что он ушел сразу после разговора с Львовым, а затем уйти и попытаться все-таки попасть к Лидии Николаевне. На подмостках стояла какая-то дама лет тридцати, явно выраженная еврейка.

— Это — Шкапская, — шепнула Верочка.

Они не поздоровались, но в этом не было никакого сознательного сокрытия или невежливости. Они всегда встречались как старые школьные товарищи.

— Я не хотел здороваться с этим Агафоновым, потому не прошел к тебе, — объяснял Олег, — а в перерыве меня задержал Львов.

При последних словах Олег не мог удержаться от самодвольной улыбки.

— Как! ты познакомился? Я видела...

Шкапская начала читать свои стихи, и Верочка замолчала, смущенная обращенными на нее недовольными взглядами.

Верочка была одних лет с Олегом, но она казалась старше и его и своих лет. Олег, наоборот, хотя и очень высокий, по виду был еще совсем подросток. Верочка тоже была высокого роста, но, так же как Олег, худая. Лицо у нее было уже вполне установившееся. Ее можно было назвать красивой, хотя в красоте ее и был один существенный недостаток: некоторая неподвижность всего лица и, главное, постоянная не-

подвижная улыбка. Кто ее впервые видел, наверное думал: какая жизнерадостная, хорошенькая девушка, какой живчик! А приглядевшись к ней дольше, вы замечали, что она всегда такая и что улыбка эта не радость жизни, а привычка. Даже когда она говорила, она улыбалась. Но только губами, глаза же — они были прекрасные, темные, при светлых волосах — смотрели строго и прямо, как бы постоянно спрашивая: "Ты говоришь правду?" Олег любил это выражение Верочкиных глаз, хотя и смущался, когда она подолгу на него смотрела. Ему всегда думалось, что она не верит.

Шкапская читала стихи плохо, и Олег первое стихотворение совсем пропустил мимо ушей. Он мысленно повторял наказ Львова: Солнцев и Вилли — да, Страхов — нет. Но второе стихотворение его поразило, и он насторожился. Это было стихотворение Шкапской о замученном Наследнике, оно начиналось словами:

**Тебе, Семнадцатый Людовик,
Стал братом Алексей Второй**

и заканчивалось:

**Мы к этой крови непричастны.
Как непричастны были к той.**

Стихотворение произвело большое впечатление на слушавших. Олега особенно поразило совпадение слов Львова и стихотворения Шкапской. Позже он, разобрав его поближе, увидел, что в нем совсем нет верности и даже очень мало простой справедливости к погибшему Царскому Отроку, что Шкапская его жалеет только, как мать жалеет всякого рано и без вины умершего мальчика, но в конце 1920 года, когда Петербург был вполне во власти ужаса и гнусности, смелое исповедание своей непричастности к крови Наследника всех тронуло и взволновало. Шкапской хлопали особенно шумно. Верочка даже крикнула в возбуждении: "Спасибо!"

— Я сейчас пойду, мне надо попасть до девяти часов... —

Была уже половина девятого. — Ты завтра вечером будешь дома?

— Нет, не буду.

— Досадно, мне хотелось тебя повидать.

— Я тоже хотела, мне надо с тобой поговорить о Сереже Журавлеве. Ты знаешь, его отправили на Плесецкую. Надо что-нибудь сделать... Знаешь что? Нам дали на службе билеты на "Садко", на четверг, у меня есть лишний, приходи. Вот, возьми.

Олег пробормотал что-то, что он не может, но Верочка сунула ему билет и шептала:

— Я узнаю к четвергу о Журавлеве, мы поговорим. Приходи непременно; говорят, Шаляпин будет петь варяжского гостя...

— Хорошо, непременно.

Олег густо краснел — трудно было лгать маленькой беленькой Верочке: он знал, что в четверг он уже не будет в Петербурге.

— Значит, в четверг в Мариинке, — выговорил Олег, не думая, словно бессознательно желая отрезать себе путь к правде. Мысль о Верочке, о том, что он так нелепо с ней простился (или попросту не простился, думал Олег), злила Олега, и он грубо толкнул в раздевалке зачем-то, хотя было совсем пусто, близко к нему подошедшего (так близко, что Олег вдруг подумал: "Он хочет меня ударить") господина с бородкой, спорившего с Львовым. Уже выходя, он с удивлением услышал, как этот господин, наклонившись, чтобы зашнуровать развязавшийся башмак, бурчал:

**Тебе, Семнадцатый Людовик,
Стал братом Алексей Второй...**

Ах, ведьма, ведьма. Чтоб ее...

ПОЧТА РЕДАКЦИИ: —————

В редакцию журнала "Время и мы"

Несмотря на то, что мне не знаком ваш журнал, я буду рада, если на его страницах появится моя статья, опубликованная в журнале "Мигван", и с ней познакомятся читатели журнала, не владеющие ивритом. Мне кажется очень важным преодоление языковых барьеров между гражданами одной малой страны, столь близкой каждому из них, вопреки переживаемым ею трудностям.

С уважением Иона БАХУР

От редакции. Публикуя статью Ионы Бахур, редакция считает, что значение поставленных в ней вопросов выходит далеко за рамки преодоления языковых барьеров.

Иона БАХУР



ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Брат мой, узник Сиона, вот я пишу тебе на языке, дорогом тебе, но почти совершенно чужом. Трудно тебе различить странные знаки приходящие к тебе из далекой волшебной страны.

Однако знаю, что этот язык, являющийся не только языком наших древних молитв, но и языком человека с улицы, также квинтэссенция той мечты о свободе, во имя которой ты готов терпеть физические и душевные страдания.

Брат мой, я завидую тебе. Ты живешь своей верой — одинокий и тяжело преследуемый, потому что ты посмел провозгласить свою особость. Я завидую тебе, ибо ты потребовал права обособиться от общества, в котором ты вырос, ради объединения со своим народом и его культурой. Это стремление символизируется у тебя словом: "Сион". Сион — это свобода, а свобода — это Сион, и ради них ты готов пожертвовать благами жизни (пусть очень относительными в Советском Союзе) и оттянуть свою борьбу против варварской со-

Сокращенный перевод с иврита С. Левковича ("Мигван").

Заголовок редакции

ветской системы — насколько это возможно. Разве это не так?

Брат мой, узник Сиона, находящийся в далекой стране, страдающий от холода и голода, всем сердцем тянущийся к своему народу, к своей семье и друзьям, к звукам еврейского языка, к свободе... Я, пишущая тебе из страны Сиона, завидую тебе. Ты, наверное, удивлен, и я попытаюсь кое-что объяснить.

Начнем с прав человека и гражданина. У нас это понятие затуманилось в гражданском сознании. Иногда создается впечатление, что наше государство опасается, что осуществление гражданских прав подорвет наш слабый национальный базис и сионизм будет обнажен, лишившись своих искусственных одежд. И тогда выяснится, что король голый.

Слава Богу, нет у нас ни ГУЛагов, ни концентрационных лагерей для разных "уклонистов", и все же это не та свобода, о которой мечтаешь ты. У нас нет запрета на свободу слова, и все же правду можно высказывать лишь очень осторожно и по чайной ложке. Как правило, правда замалчивается. В Израиле существуют закон, суд, существует полиция, однако, почему-то, гражданин не верит в то, что его права защищаются законом. Он предпочитает действовать и добиваться своего путем давления, путем захвата силой, а иногда и путем попытки обойти закон.

Сам закон настолько неуважаем в народном сознании, что иногда кажется, что это закон другого, не еврейского государства. И умение обойти закон выступает даже как "мицва", как добродетель.

Распространенные у нас выражения "во имя государства" или "во имя сионизма" скорее затуманивают недоверие между гражданином и государством, нежели выражают его готовность к жертве во имя дорогого тебе идеала. Вряд ли это благодарная атмосфера для укрепления нашей демократии и осуществления прав человека и гражданина. Наоборот, такая атмосфера удобна для всяких видов произвола, начиная от самого наивного, например, повреждение общественных садов и парков, или оглушающий шум, или езда на

тротуарах и нарушения правил дорожного транспорта. Но в любой форме этот произвол означает покушение на права личности, характерное для низкой культуры, и означает также презрение к постановлениям правительства, относительно которых имеются расхождения в обществе. Не говоря уже о том, что этот произвол так часто сопровождается нанесением ущерба физического или морального.

Многие спрашивают: кто виноват? Власть или партии, кнесет, чиновничество, народ, сионизм, государство или полиция? А может быть, это еврейский характер, которому присущи, как тебе известно, разные черты? Или человеческая природа? Или тенденция к забвению ценностей, столь распространенная в свободном мире? Или, наконец, военные потрясения?

Кто отобрал у израильского гражданина свободу строить свою жизнь в его единственном государстве, — соответственно своему пониманию и интересам — после того, как он проявил такое мужество в защите его границ? Ты, узник Сиона, которому так дорого понятие "свобода", как можешь ты остаться равнодушен к этому вопросу?

Нет у нас ГУЛагов или концентрационных лагерей, нет у нас психушек для политических заключенных, и все-таки, брат мой, существует какое-то согласие, почти всеобщее согласие, направленное против прав человека и гражданина в их самом элементарном понимании.

Согласие между теми, кто нарушает эти права по легкомыслию или из-за презрения к ним, и теми, кто готов терпеть и молчать.

Есть у нас в общественной атмосфере нечто, не терпящее дискуссий, которые частное лицо, казалось бы, может вернуть в любом из учреждений страны. При этом никак нельзя обвинить любого из этих граждан в злом умысле или намерении нарушить закон. Если вы спросите, почему все это так, то получите ответ: "Так, и всё!"

Ты ведь знаешь, что подобное положение существует и в твоей стране. Но там, при советском режиме, ты как гражданин не несешь никаких обязательств. Не ты выбирал эту власть, и никто не спросил твоего мнения. У нас же каждый

гражданин несет моральную ответственность в отношении государственных порядков, ибо это сионистское государство, оно — наше.

Итак, из страха, что у еврея (маленького еврея, оберегающего закон и не пользующегося насилием), может быть, действительно, нет прав в своей стране, — мы начали молчать. И это молчание, продолжающееся уже много лет, породило произвол, падение нравов и замкнутый круг несвободы.

Это неправда, что большинство удирающих за границу ищут, главным образом, материальные преимущества. (Впрочем, тут нет особой беды, если люди об этом честно говорят). Но многие делают это потому, что сердце их преисполняется отчужденности по отношению к несвободе, прикрываемой громкими словами, к узколобию, характерному для чиновничества. Ведь и это тоже преподносится подчас как требование "считаться" с сионистскими идеалами, и, главное, люди это делают из отчужденности к стилю жизни, низкому и примитивному. Этот стиль жизни восторжествовал у нас из-за попытки ускоренного (а потому и в большей мере внешнего) слияния различных образов жизни и традиций, восточных и западных, слияния в тяжелых материальных условиях, из-за почти брутальной поспешности поставить идеал новой государственности на "куриные ноги" действительности.

Поспешность в слиянии различных этнических групп в один народ, попытка навязать сионизм (ты слышишь: навязать сионизм!) широким массам выглядели как мессианское избавление или откровение на Синайской горе. И это явилось тяжелой ошибкой основателей государства. Не напоминает ли тебе это нечто подобное в развитии социалистической революции в России, которая, казалось бы, высоко подняла знамя освобождения человека во всем мире?

Многие из поборников сионизма еще до образования государства превратились в поборников своих материальных благ — в циников, которые спокойно взирали на то, как меняется сионистский лексикон: вместо того, чтобы выражать заветное стремление обрести родину, лексикон этот начал прикрывать общественные извращения. Тот, кто любит народ Израиля (а

сегодня многие провозглашают безграничную любовь к своему народу), не может требовать от него поступиться самым дорогим, своим человеческим образом во имя высшего идеала, содержание которого, по существу, сводится к государству как таковому. При том, что авторитет этого государства основывается не на свободе гражданина, а черпается из религиозных институций, определяющих — кто будет принадлежать к израильскому обществу, кто окажется вне его и кто — на его задворках.

Многие из людей, преданных народу Израиля, без колебаний пошли на то, чтобы приуменьшить значение воспитания в духе демократических традиций. И в то же время поднять на щит верность ценностям государства, как будто бы только оно и воплощает в себе еврейскую историю и идеалы сионизма. Религиозная верхушка немало содействовала этому, надеясь добиться таким образом политических выгод и, главное, завоевать сердца для иудаизма.

Нет ничего удивительного в том, что создалось недоверие к способности государства и закона защитить права гражданина не только в речах и на собраниях, но и в жизни. Как ты теперь понимаешь, у нас велики ножницы между словами и действительностью, которую эти слова должны выражать.

Иногда кажется, что народ в Израиле не верит в свои силы избрать руководство сообразно своей воле (и это несмотря на свободу слова, которая ему дана), и он может только сменить время от времени всадника на своей спине, всадника, к которому можно как-нибудь приспособиться еще на четыре года.

Нет сегодня более важного дела в общественной жизни Израиля, чем придать реальность понятию "права человека и гражданина" в его истинном, демократическом смысле. Добиться этого в каждой мелочи повседневной жизни, оставив в стороне слова "но", "потом" или "завтра". И если выяснится, что осуществление прав человека и гражданина окажется почему-либо невозможным, то это очень плохо, тогда, брат мой, мы в западне. И если выяснится, что верховоды еврей-

ской религии прикрывают возможный конфликт, то разве мы не обязаны отделить себя от этой лжи?

Идентифицировать древнее слово "Сион" с живым, сегодняшним понятием "свобода" — это то счастье, которое выпало на твою долю, мой дорогой брат. Иногда кажется, что народ тошнит от лжи и псевдоидеалов, которыми его кормили в течение многих лет, идеалов, которые, быть может, не были пошиты по его мерке.

И сегодня, когда уже невозможно скрыть глубокую бездну между идеей избранности еврейского народа и действительностью израильянина в его стране (смертного, обыкновенного человека), — на рынке идей появились торговцы "целостного и неделимого Израиля". Их надежда, по-видимому, в том, что эта высокая идея мистическим образом возвратит израильтянам способность вновь стать избранным народом. И не путем сочетания Сиона с понятием гражданской свободы, когда религиозная вера возвышает личность и делает ее достойной избранного народа. Нет, в пренебрежении к законам государства, в осмеянии самих себя, Сиона и свободы, всего того, что так дорого тебе, ищут они путь к обновлению.

Брат мой, узник Сиона, тебя и твои испытания также пытаются использовать как лозунг. Тебя изображают приносящим себя в жертву на алтарь идеала, который мы здесь осуществляем своим присутствием, а, ведь, это далеко не так... Нет, ты не жертвуешь, а тяжело борешься за свою честь, единственным путем, доступным тебе. Твоя мужественная борьба возрождает древний Сион, она служит источником внутренней веры, укрепляющей твой дух, а мы здесь вынуждены поступиться нашим пониманием сионизма, тождественным со словом "свобода" — как будто мы можем путем такого самоуничужения прийти к какой-то возвышенной цели. А ведь верно как раз обратное: ибо только саморазрушение себя и полная анархия могут ждать нас, если мы выберем предлагаемый нам путь. Мы, ты и я, выражаем одно слово, один звук в совершенно разных условиях жизни, в разных концах планеты, но говорим ли мы на одном языке? Сумеешь ли ты разобрать эти странные знаки, приходящие к тебе в подполье из далекого Израиля?

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ХРОНИКА"

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ, выпуск 50, 1979 г., цена - 5.00; выпуск 51, 1979 г., цена - 5.00.

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР, выпуск 5, 1979 г., цена-5.00.

ХРОНИКА ЛИТОВСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ, 1979 г., 245 стр., цена —8.00.

Александр Подрабинек. КАРАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. 1979 г., 192 стр., цена-7.00.

Также в продаже

Владимир Буковский. И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР... 1978 г., 384 стр., цена -- 12.00.

Александр Некрич. НАКАЗАННЫЕ НАРОДЫ. 1978 г., 170 стр., цена - 7.00.

ПАМЯТЬ. ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК. Выпуск 1. 1978 г., 600 стр.,цена - 15.00.

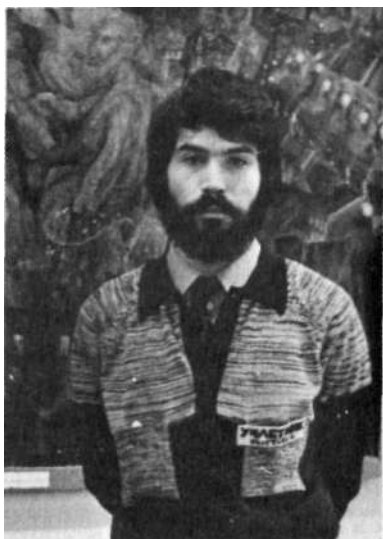
СССР - РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ? Составитель В. Чалидзе. 1978 г., 166 стр., цена — 7.00.

Валентин Турчин. ИНЕРЦИЯ СТРАХА. СОЦИАЛИЗМ И ТОТАЛИТАРИЗМ. 1978 г., 296 стр., цена - 10.00.

Заказы направлять по адресу:

KHRONIKA PRESS
505 EIGHTH AVENUE
NEW YORK, NEW YORK 10018

Цены указаны в долларах.



ВЕРНИСАЖ
"ВРЕМЯ И МЫ"

Нью-Йорке, Чикаго, Цинцинати. 1978 год — выставка в музее современного искусства в Ереване, многочисленные нонконформистские выставки в московских и ленинградских квартирах.

Итак, искусство — это диалог "художник — зритель", диалог, который существовал всегда, но оказался утраченным в новейшие времена, ибо "размытыми" оказались строгие каноны, извечно присущие живописи. В результате утерян извечный контакт художника со зрителем. Художник становится автором монолога, непонятного, причудливого и странного.

По мнению Александра Окуня, живопись — это путь, который должен вернуть человека к простым ценностям жизни, и главное в ней — не конструкция холста, не замещающее Бога формотворчество, не срисовывание с природы, а живая жизнь, адекватная лишь самой себе. И не в том ли высшая задача художника, чтобы выявить вечные элементы из оболочки повседневности?

А что такое авангард? Авангард — это такая гонка за новым, которая напоминает погоню кошки за собственным хвостом или кручение белки в колесе. Есть некая теория, утверждающая, что для художника важнее всего успеть сесть на поезд, и тогда, усевшись на площадке искусства, даже инвалид, слепой или безрукий, уедет дальше, чем здоровый, идущий пешком. Лично я, — продолжает Александр Окунь, — предпочитаю быть с ногами, глазами, сердцем и идти пешком — во всяком случае, увидишь больше и, пройдя, пусть не далеко /а куда спешить?/, сумеешь понять и осмыслить увиденное. В конце концов, очень правильно сказал Э. Визель: "Важно не то, что дважды два четыре, а то, что Бог един".

Индивидуальность или есть, или ее нет. Можно придумать любой ход, можно все писать крестиками или ноликами, и каждый будет узнавать вас, но к индивидуальности это не имеет никакого отношения. Самая лучшая живопись там, где ее нет, то есть, где забываешь о технике, композиции, красках и т.п. и остаешься наедине с духовной сутью живописи, так же, как вы можете остаться наедине с музыкой или поэзией, не ощущая стилиа, формы или почерка автора. Фальк сказал о Рембрандте: "Когда я был молод, я не любил Рембрандта, поскольку видел только огромные холсты, обмокнутые в коричневый соус. Чем старше я становился, тем больше любил Рембрандта, а теперь я, старик, люблю его больше всех, ибо Рембрандт — это овеществленное сострадание к людям..." Неправда ли любопытно, — заканчивает Александр Окунь. — Оказывается, можно говорить о великом художнике, не обмолвившись и словом о живописи..."

ДИАЛОГ "ХУДОЖНИК-ЗРИТЕЛЬ"

Мы, называющие себя авторами, уже давно взяли за правило додумывать за художника, что-то в нем раскрывать, что-то истолковывать, приобщая зрителя к таинствам его мастерства. Александр Окунь, которого мы представляем читателю, категорически не согласен с этим, да и сами "таинства мастерства" для него не более, чем расхожий трюизм. Впрочем, взгляды художника, вообще, заслуживают, чтобы познакомить с ними читателя.

Живопись — это диалог художника и зрителя. Без зрителя не существует живописи, и он, зритель, — такой же автор, как и художник. Процесс восприятия живописи — это процесс узнавания — "И дорог нам лишь узнаванья миг" /Мандельштам/. Художник, если хотите, "тычет" зрителя носом в то, что тот пришел посмотреть, но не увидел, — говорит Александр Окунь, — зритель смотрит на созданное художником и вдруг осененный восклицает: "Ах, да ведь это вправду именно так. Как же я раньше этого не заметил!"

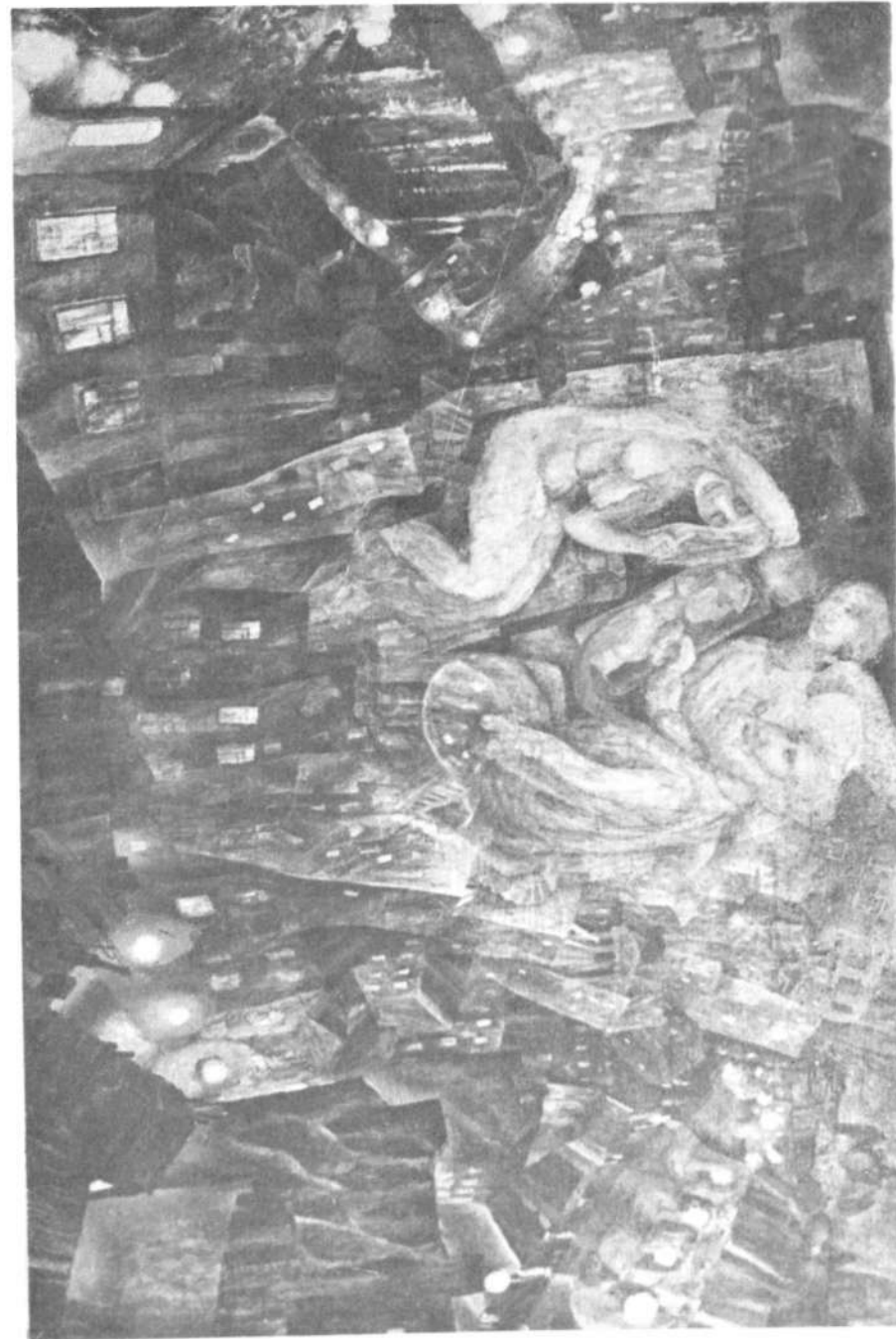
Так или примерно так, на общедоступном языке, звучит кредо Александра Окуня.

Всего семь лет назад, он окончил художественное училище имени Мухомовой. И вот уже в 1974 году — первая нонконформистская выставка, и затем полный конфликт, риска, напряженных исканий путь неофициального художника: 1975 год — выставка группы еврейских художников "Алеф", 1976 - 1979 годы — выставки в Беркли,



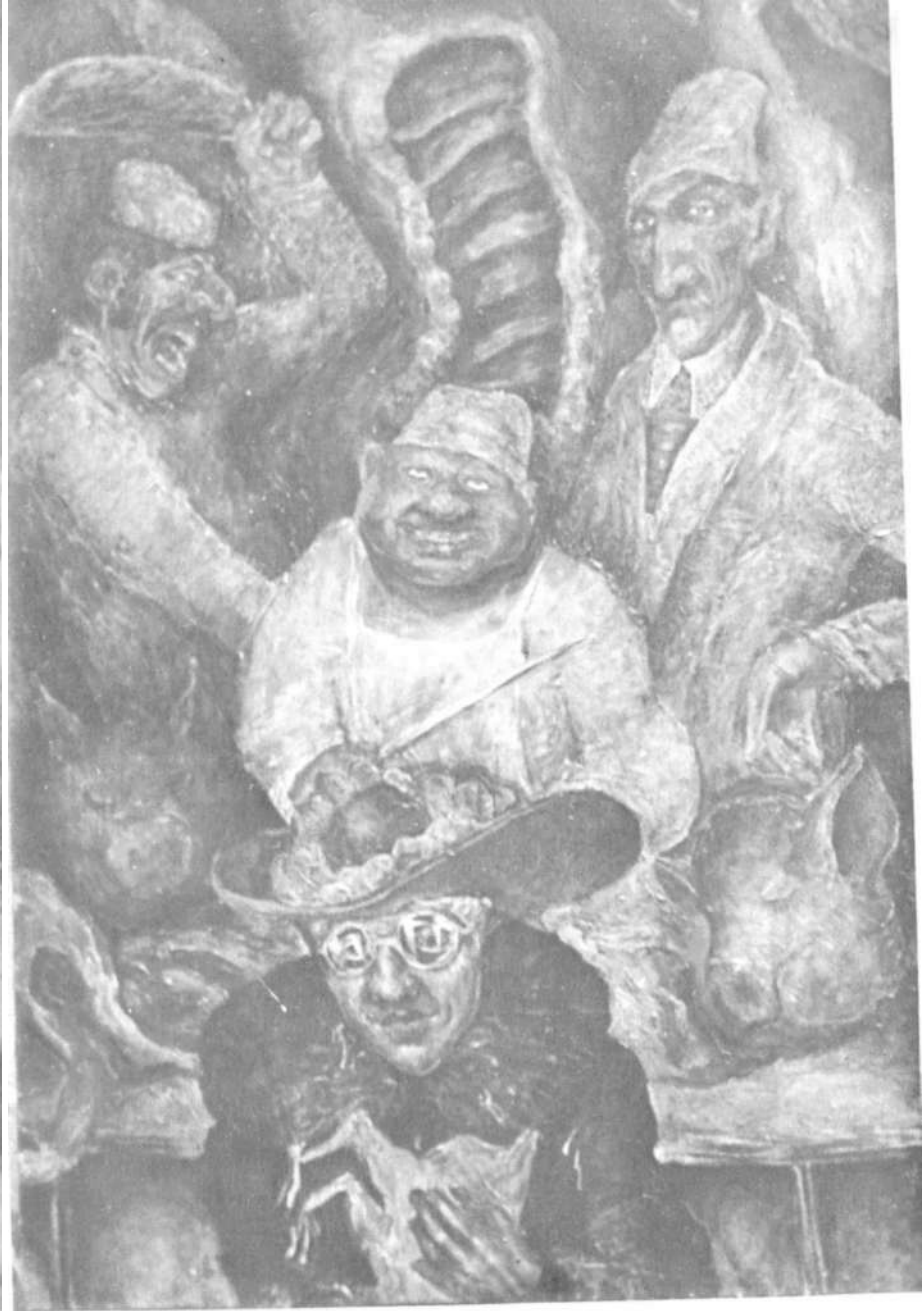
Портрет Игоря Губермана

Ночной Ленинград





Гаснут зівки зодіака



Мясики

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Василий ГРОССМАН. Читай вступительную статью Ефима Эткинда.

Юрий ДРУЖНИКОВ. Писатель и историк педагогики. Родился в 1933 году, окончил историко-филологический факультет педагогического института. Преподавал, затем до 1971 года работал заведующим отделом науки газеты "Московский Комсомолец". Член Союза писателей СССР, автор нескольких книг прозы и двух педагогических монографий. В настоящее время живет в Москве. В 1977 году подал документы на выезд в Израиль, однако ему было неоднократно отказано.

Владимир АДМОНИ. Подробные биографические данные редакции не известны. Живет в Ленинграде. Выступал в качестве свидетеля защиты по делу Иосифа Бродского.

Юрий ИОФЕ. Родился в 1921 году. По профессии математик. Работал в Москве преподавателем, научным сотрудником, редактором физико-математической литературы. В мае 1972 года эмигрировал в Германию, живет во Франкфурте-на-Майне. В Советском Союзе почти не публиковался. На Западе опубликовал около сотни стихов и несколько прозаических произведений.

Рина ЛЕВИНЗОН. Родилась в Москве. Окончила Институт иностранных языков в Свердловске. Работала преподавателем английского языка, корреспондентом радио и телевидения. Печатала стихи и переводы в различных журналах и газетах. Первая книга ее стихов вышла в 1971 году, вторая — в 1975 году. В Израиль приехала в 1976 году, живет в Иерусалиме.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ. См. журнал №42.

Александр ШТРОМАС. Публицист и правовед. Родился в 1931 году в Каунасе. В годы войны был в Ковенском гетто. Окончил Юридический факультет Московского университета. С 1974 года живет в Англии. Профессор Манчестерского университета. Активно участвует в правозащитном движении.

Виктория ШВЕЙЦЕР. Рукопись Виктории Швейцер пришла по каналам самиздата, и ее биографические данные не известны.

Дора ШТУРМАН. См. журнал №42.



Новый год

Анатолий ЛИМБЕРГЕР. Журналист. Родился в 1929 году. В 1953 году окончил редакционно-издательский факультет Московского Заочного Полиграфического института. В течение многих лет работал заведующим отделом газеты "Московская Правда". В настоящее время живет в Нью-Йорке.

М. РЕЙМАН. Родился в 1930 году в Москве. До 1954 года жил попеременно в Чехословакии и СССР. В 1954 году окончил исторический факультет МГУ. Затем работал преподавателем и был доцентом Высшей политической школы в Праге. Доктор исторических наук. Имеет около шестидесяти печатных работ. Активный участник Пражской весны. В 1976 году выехал в ФРГ.

Лев СТРУВЕ. Биографические данные приводятся во вступительной заметке к публикуемому отрывку из романа.

Иона БАХУР. Родилась в Хайфе. В молодости жила в кибуце. Окончила Иерусалимский университет. Служила в качестве военного корреспондента в израильской армии. Преподавала иврит новым репатриантам из Советского Союза. Систематически выступает со статьями и рецензиями на страницах израильских газет и журналов.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче"

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 8 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

ЖУРНАЛ "ЭХО"

Вышел из печати и продается 4 номер "Эхо",
завершающий 1 год издания журнала.

В НОМЕРЕ:

Проза из самиздата: Борис Бахтин, М. Козырева, Владимир Алексеев.

Рассказы В. Марамзина.

Большие подборки стихов двух Ленинградских поэтов Сергея Стратановского и Александра Миронова.

Два сонета А. Хвостенко.

Переводы Генриха Худякова из Эмили Дикинсон.

Отрывок из книги Александра Глезера, статьи Виктора Тупицына, Петра Вайля и Александра Гениса.

Добавление: Два типа критики.

Журнал редактируют:
Владимир Марамзин
Алексей Хвостенко.

Подписка в редакции на 1979 год: 65 франков (4 номера), включая пересылку простой почтой. Авиапочта — 25 франков дополнительно

Цена журнала в продаже 20 франков.

Адрес редакции: "ЭХО" с/о V. Maramzine, 302, rue des Pyrenees,
75020 Paris. Tel. 366.80.31

Представитель в Израиле: Ирина Гробман, 28 Ephraim Str. Baka,
Jerusalem, tel. (02) 712.493.

КОГДА БАНК «ЛЕУМИ»

ПРЕДЛАГАЕТ
ВАМ БОНУС
ДО

22,500 ЛИР

**ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ,
ЧТО ПОЛУЧИТЕ ЕГО**

**БОНУС В 25% ПО ПРОГРАММЕ «КОАХ АД 120» НА ЛЮБУЮ СУММУ ОТ 500 ДО 90.000 ЛИР.
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ В БАНКЕ «ЛЕУМИ», БАНКЕ «ИГУД», БАНКЕ «АЛИЯ-ЛЕУМИ»
И БАНКЕ «АРАВИ-ИСРАЭЛИ».**

БАНК «ЛЕУМИ» —

— банк, шагающий в ногу со временем.



bank leumi **בנק לאומי**

E.TAL ADV

До 17.9.
БОНУС
25%
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БАНКА ЛЕУМИ



**ЕЩЕ ОДНА КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА ДЛЯ ПЕЗДКОВ
ЗА ГРАНИЦУ.**

Выезжающий за границу! Если Вы едете за границу, есть смысл зайти перед поездкой в филиал банка Дисконт и оформить кредитную карточку VISA или DINERS CLUB.

Кредитная карточка DINERS CLUB. Исключительно удобна во время путешествий. Распространена во всем мире, главным образом, в Европе. Особое предложение: Кредитная карточка DINERS CLUB на три месяца за десять долларов (20 долларов в год). С двумя кредитными карточками в кармане в вашем распоряжении весь мир.

Кредитная карточка VISA — самая распространенная в мире. Особенно большое распространение она получила в США и некоторых странах Европы, где ее принимает большинство магазинов. Кроме того, Вы можете получить до 150 долларов в любом отделении банка мира. Особое предложение: кредитная карточка VISA — за 10 долларов на три месяца (20 долларов в год)

בנק דיסקונט

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1979 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высыпать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:
P.O.B. 24123, Tel Avtv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД

Авиапочтой **сроком на 6 месяцев**
Обыкновенной почтой **на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чок.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel**



Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.

Тел. (03) 72-58-40.

26 Shenkin St., Givataim.

**Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П.Я. 24123,
Тель-Авив.**

Типография "Дерби". Улица Амаадиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июнь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Художник Лев Ларский

Корректор и литературный редактор Ася Левина

Технический редактор Наталья Рубина

На четвертой странице обложки: Александр Окунь "Буфет*."

